

Владимир Насущенко С утра до вечера

С Владимир
НАСУЩЕНКО

Утра
Рассказы ДО
вечера

Г



Владимир
НАСУЩЕНКО

С утра
Рассказы до
вечера



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение

1984

ББК 84.Р7
Н 31

Художник Михаил Новиков

Н $\frac{4702010200-157}{083(02)-84}$ 96-84

© Издательство
«Советский писатель», 1984 г.

*Жене моей
Зинаиде Фроловне Насущенко
посвящаю*

«ФД»



моста поезд притормозил. Мальчишка успел соскочить под насыпь. Было очень высоко прыгать с вагона, но он уже приноровился соскакивать на ходу и благополучно приземлился, ушибив локоть и ободрав щеку.

Он знал, что лучше сойти здесь, не доезжая до станции, где полно поездных охранников: сразу спаают и отведут в детский приемник, откуда он бежал пять дней назад.

За эти дни он проехал семьсот километров, совсем неплохо. По его подсчетам, до Ленинграда оставалось три тысячи с небольшим. Там у него жила родная тетка, которая писала, что приедет за ним будущей весной. Но он не захотел ждать: война кончилась.

Он не сообразил прыгнуть после железнодорожного моста, не знал, что мост охраняется. Часовой не пустил на ту сторону.

Переправы тут не было — придется ночевать в степи.

Но прежде нужно было хорошенько вымыться: он ехал в вагоне с углем, глаза слезились от угольной пыли, в ушах полно грязи, на зубах тоже скрипел уголь. В таком виде появляться на станции не стоило: сразу попадешься.

На мальчишке был свитер, который он не снимал уже две недели, штаны с латками на коленях и заду.

Он спустился по откосу к воде. Часовой сверху смотрел на него и от скуки плевал в воду.

Мальчишка снял свитер, истлевшую рубашку и штаны, надетые на голое тело, без трусов. На ночь купаться не хотелось.

Вода была теплая. Он стал оттирать мелким песком руки, уши и лицо. С ободранной щеки потекла кровь, он быстро остановил ее испытанным средством — прилепил подорожник, поплевав на него.

Потом протер песком все тело: мыла у него не было. Ребра торчали, как у бездомной собаки, на спине были подозрительные струнья. Последнее время он много ходил босиком: пятки потрескались, подошвы стали твердыми, как копыта. Он спокойно мог бегать по стерне, не ощущая колючек. Детдомовские ботинки он берег, надевал их только тогда, когда садился на товарняк.

А теперь фиг сядешь — кругом голая степь, переправы нет. Плавать он не умел. И домов не видно, чтобы попроситься на ночлег. Были бы спички — другое дело. Чертов часовой, жалко пропустить на тот берег, будто он шпион какой...

Мальчишка стал надевать тряпье.

Солнце садилось, но было тепло. Часовой расхаживал по настилу, потом ушел под грибок и теперь не смотрел в его сторону.

Заходящие лучи солнца освещали мост. Он стоял на катках. И снизу хорошо было видно, что мост давно не красили: ржавчина между заклепками отходила слоями.

Быки были высокие, ни за что не залезть на фермы, чтобы перебраться по ним снизу, обвести часового...

Мальчишка вытащил из котомки пиджак с закатанными рукавами. Он был велик для него, но спасал от холода. Придется лечь в траве и дожидаться утра, а там видно будет. Последний сухарь он съел еще вчера, и в животе теперь было очень худо.

Мальчик походил по низине и наконец нашел то, что искал. Это был дикий лук.

Он сорвал несколько жестких стеблей, достал из котомки тряпицу с крупной ржавой солью и стал макать в нее лук и есть. Это была не еда, но все же лучше, чем ложиться с пустым желудком. Лук по вкусу напоминал настоящий и был крепок, как трава.

Мальчишка сплюнул густую зеленую горечь. На отмени мальков было не видно, чтобы поймать их рубашкой. Были бы спички, он бы нарвал бурьяна, разжег костер, еще бы добавил кизяка. Наверху он заметил несколько высохших коровьих лепешек — видно, весной тут гнали гурт коров.

Он поднялся наверх, ища теплую яму, чтобы улечься, и вдруг услышал окрик:

— Эй, пацан, иди-ка сюда!

Мальчишка оглянулся и увидел человека, сидевшего у березового колка. Сам колок был спилен до основания, только на краю торчали две закрученные березы. Вот там и сидел этот человек и что-то делал на земле.

Мальчишка боялся подходить, стоял и смотрел. В руках человека была белая курица, которую он ощипывал одной рукой, зажав ее между колен.

— Слышишь, что говорю?

— Слышу.

Мальчишка приблизился на такое расстояние, чтобы можно было успеть удрать. Он не доверял взрослым, на то были свои причины.

— У тебя есть соль? А то курица будет невкусной...

Мальчишка покопался в котомке, вытащил тряпицу с остатками соли.

— Немного есть.

— Давай ее сюда.

Мальчишка сделал шаг вперед и остановился. Разглядывал сидящего. Это был мужчина в измятой шинели на острых плечах, на лохматой голове — фуражка с тусклым козырьком. Солнце освещало его багровое лицо, если это можно было бы назвать так. Нижней челюсти почти не было, лоб в синих пороховых пятнах, левый глаз неестественно торчал из орбиты и слезился. Он вытирал его рукавом. Инвалидов мальчишка встречал на больших станциях, на барахолках, у пивных ларьков, но такого не приходилось...

Мальчишка подошел ближе и бросил соль на землю.

— Возьми.

— А здорово ты летел вверх тормашками с поезда... — Человек закашлялся, пытаясь изобразить на своем лице смех. От этого он стал еще страшнее. Из рукава шинели торчала раздвоенная культия. — Часовой не пустил?

Мальчишка кивнул.

— И меня. Сказал, что внизу ходит паром... Километров пять отсюда. — Инвалид махнул рукой на юг. — Сходи за топливом, пока я кончу.

Он стал дощипывать курицу, дуя на летевший пух.

Мальчишка пошел по тропе, выискивая коровьи лепешки. Стал отдирать их, поддевал снизу ладонью. Лепешки хорошо высохли, были легкие и ничем не пахли. Он набрал их целую охапку, отнес к березам и сходил еще раз, чтобы хватило надолго.

Инвалид вытащил из сидора закопченный котелок, на котором было вырезано ножом: «Хрусталеv».

Мальчишка усиленно думал, где Хрусталеv добыл курицу, когда вокруг одна степь.

— Тебя как зовут? — спросил инвалид, вытаскивая широкий нож с наборной ручкой.

— Тимоха...

— Я — Леша.

Уже темнело.

В траве булькали перепела: «Пать пора, пать пора».

Инвалид протянул котелок:

— Помой и принеси воды.

Мальчишка взял помятую посудину, спустился к воде. Река холодно блестела. Он вырвал пук осоки, и, макая ее в песок, тщательно выскреб котелок внутри, пока пальцы перестали скользить. Потом прополоскал, зачерпнул в котелок воды и вернулся.

Костер уже горел синим пламенем. Голая курица лежала на кочке, около огня торчали рогатки.

— Ставь сюда.

Хрусталеv сложил потрошки и курицу в котелок. Часть воды вылилась из него. Курица вместилась. Скорей это был тощий цыпленок.

— Есть хочешь? — спросил Хрусталеv.

— Еще как.

— И я, брат. Живот к позвоночнику прирос... — Он поддел березовой палкой ручку котелка и повесил его над огнем. — Порядок в танковых частях. Откуда топаешь?

— Из Алтайского края.

— Ага, — сказал инвалид. — Далековато от этих мест...

— Я шел пешком до Карасука сто двадцать километров... Доехал до Татарска, потом на Омск кондуктор взял. Потом я сел не на тот поезд. Надо было на Тюмень...

— Географию плохо учил, — усмехнулся Хрусталеv и подбросил в огонь топливо. Кизяки сразу загорелись.

— Я по карте знаю. Просто сел не на тот поезд...

Мальчишка покопался в котомке и вытащил школьную карту, развернул ее:

— Вот, мне надо было по этой ветке...

— Ты прямо офицер, по карте шпаришь. Я тоже решил ближе к дому податься. Хотя никто не ждет...

— Почему?

— Женка с дочкой под бомбой погибли. Брата в Германию угнали, пропал без вести. Мать не знаю где. Деревня из рук в руки переходила...

— Значит, ты сирота? — строго спросил мальчик.

— Вроде, — усмехнулся инвалид. — Я полтора года в госпитале отбухал. Выписался, деться некуда. Пошел в примачи к одной старухе. Хорошая была бабка: мне костюм шевиотовый купила, пальто справила. Но меня как черт в бок толкал: езжай, и точка. Ну, я ей все шмотки оставил, свое надел и сбежал ночью. Куда еду, не знаю...

— Жил бы у старухи, раз она хорошая.

— Нет, брат. На родину тянет. А ты куда путь держишь?

Тимоха рассказал про Ленинград, как мать умерла от голода.

— Меня увезли через Ладогу. Но я ничего не помню, как ехал. Вообще, целый год ничего не помнил...

Мальчишка замолк и прислушался. Из-за реки доносились гудки паровоза, но огней станции было не видно. Здесь было тихо, если не считать ночных птиц. Похлебка уже кипела. Хрусталеv бросил щепоть соли в котелок и стал рассказывать историю с курицей:

— Иду по степу, она — навстречу, наверное заблудилась сдуру. Я ей: цып-цып. Идет. Думала, что я зернышек приготовил... — Хрусталеv засмеялся и пошевелил в огне. — Так-то. Меня кондуктор с панталыку сбил: «Ревизор, ревизор...» Слез, чтобы человека не подводить, хотел в первый вагон перейти, а поезд и пошел, не успел я прыгнуть с одной рукой. И товарные ходом шпарят. Пришлось восемнадцать километров пешедралом топать. Ноги чуть не отвалились. Тут этот пентюх с карабином. Чтоб ему пусто было...

За разговором не заметили, как поспела курица. Ложка была одна. Хлебали по очереди, обжигаясь бульоном. И пресная лепешка у инвалида нашлась. Как в сказке! Мальчишка ревниво следил, чтобы не пропустить очереди, когда напарник по забывчивости тянул лишние порции:

— Не по-честному...

— Во даешь. Курица чья? — посмеивался Хрусталеv, но ложку отдавал.

Полторы цыплячьих ноги оставили до утра.

Ночь была темная. У огня было хорошо. Мальчишка заклевал носом.

— Ложись, завтра рано подъем.

Тимоха лег в яму калачником, котомку с «генеральной» картой — под стриженую голову. И смотрел в черное небо, где с тихим гулом дымился Млечный Путь.

Хрусталеv курил у тлеющего огня, бормоча под нос:

— Эх, босота. И что это за напасть — война, детей сиротить...

Крупная слеза выкатилась из его выпученного глаза. Он утер ее рукавом и тоже стал укладываться. По мосту прогремел поезд, потом еще два.

Утром мальчишку разбудил стук перепелов. Над сухой степью поднималось солнце. Он хорошо выспался, укрытый полкой шинели, от которой пахло кизячьим дымом, моршанской махоркой.

— Дядя Леша, пора вставать.

— Пора.

Они встали, отряхнулись от пепла, травы, доели куриную лапу.

Хрусталеv приставил руку ко лбу и посмотрел в сторону моста.

— Часовой другой — может, пустит? Где чертову переправу искать... Ты изобрази хромого. Двух калек небось пожалеет. Ать-два...

Собрали котомки и пошли к насыпи. Мальчишка ковылял, как велели.

Часовой, действительно, был новенький. Лицо не такое свирепое, как у вчерашнего бойца. Он сдернул с плеча винтовку.

— Стой. Здесь запретная зона. Вы что, не видите?

Хрусталеv остановился:

— Слушай, друг, нам нужно на ту сторону...

— Не имею полного права. Здесь запретная зона. Поворачивай, — повторил часовой и поставил винтовку к ноге, разглядывая прищельцев.

— Да мы калеки, куда пойдём? Видишь, — Хрусталеv поднял культу и толкнул мальчишку: — Заплачь, а то не пустит...

Тимоха с готовностью скорчил плаксивую гримасу:

— Дядя, пусти...

Часовой оглянулся. Хрусталеv, видя, что он колеблется, протянул:

— На станцию идем. В степу ночевали. Оголодали пешом идти. Будь другом, махорки пачку дам.

Охранник опять оглянулся. Мальчишка мотал на рукав сопли.

— Нога болит...

— Черт с вами, только бегом, а то меня под суд упекут.

— Мы мигом.

— Не рассусоливай! — стыдливо крикнул часовой, пряча в карман махорку.

Хрусталеv и Тимоха бросились по узкому настилу. Мост гулко отзывался на топот. Мальчишка забыл, что должен хромать, бежал изо всех сил.

На том берегу отбежали подальше, скатились под насыпь и тут только отдышались. Хрусталеv пыхтел, надувая здоровую щеку:

— Со мной, брат, не пропадешь.

На станции было шумно. Бегали люди. По рельсам

катался визгливый, как поросенок, маневровый паровик, толкая с места на место вагоны: формировал сборный на Челябинск.

Хрусталеv пошел на вокзал в разведку. Мальчишка лег на бугре. Тут был небольшой тупик. Пропахшая мазутом трава лезла из-под шпал, рельсы были ржавые. У коновязи верблюды жевали жвачку. Шерсть с их боков висела клочьями. На короточках сидели коренастые казахи, лопотали по-своему. На Петропавловск прошел ходом поезд с зачехленными самоходками на длинных платформах. Паровоз серии «СО» со щелястым тендером вели женщины. Двери в будку были открыты. И мальчишка успел заметить, как женщина бросала в топку уголь. Белое пламя осветило ее безумное лицо.

Солнце поднималось выше. Воздух стал недвижим. Из тупика пахло гарью. Маневровый толкач въехал на канаву. Сменная бригада осматривала ходовые части паровоза, стуча молотками по гайкам. Потом паровоз ушел, оставив после себя кучу дымящегося шлака.

Из дежурки вышла старуха в грязном мужском пиджаке, взяла у стены совковую лопату и спустилась в канаву выбрасывать раскаленный шлак на поверхность. Она долго копошилась там, заходясь кашлем от угарного газа.

Тимохе хотелось пить, он встал и пошел туда.

— Слушайте, где здесь можно попить?

Старуха перестала скрежетать лопатой, подняла голову, серую от пыли. Пожалуй, ей было лет сорок, не больше. Просто она казалась такой древней из-за грязи.

— Э, милок, за водой на колонку иди или к колодцу. — Женщина махнула рукой в степь, где стоял вагончик без колес и виднелся загон, огороженный плетнем. — Вода там вкусная...

Мальчишка перекинул котомку на другое плечо и направился к колодцу. Вся трава вокруг колодца была чисто выстрижена голодными животными, истоптана копы-

тами. Сухие овечьи катыши хрустели под ногами. Мальчишка еле вытащил тяжелую бадью гнилой веревкой. Попил, помыл лицо и вылил воду в лоток. Вода побежала по наклонной плоскости в корыто.

Он заглянул через плетень, замазанный глиной от зимних ветров, где сбившись в кучу стояли тощие овцы. Их было штук семьдесят. Они с грохотом бросились в угол загона, сбивая друг друга. Одна овца не могла встать, лежала на вытопанной земле и жалобно мекала. Плетень во многих местах был изгрызен. Овцы ждали отправки на мясокомбинат, и еды им никакой не было. Вагончик был на запоре. И мальчишка подумал, что овцы брошены на произвол судьбы, подохнут здесь без воды и жрания.

Вдруг из-за угла вышел сторож в армяке, надетом на голое тело, и присвистнул:

— Ты-то мне и нужен. Поди сюда, малшык, я тебе что-то покажу...

Голос у человека был доверительный, вкрадчивый, и мальчишка клюнул на эту удочку. Сторож подошел.

— Смотришь овечек, значит?

— Они пить хотят.

— Ишь ты какой заботливый. Надо тебя в помощники взять. Овцы избалованные, день и ночь пить давай. Я один измучился воду качать. А где твои приятели?

— Какие приятели?

— Те, что вчера овцу украли.

— Меня вчера здесь и не было.

— Рассказывай сказки. И ты был с ними. Я тебя приметил, когда вы бежали. Хорошо, я вас вовремя застукал, жаль, не догнал...

— Честное слово, вы ошибае...

Мальчишка не договорил. Сторож выхватил из-за голенища кнут и ударил его изо всей силы. Тимоха икнул и скорчился, потом упал. Сторож наносил удары с отяжкой и приговаривал:

— Ворье несчастное. Я тебе покажу курдюк... Вчера не вышло, сегодня пришли подглядывать...

Кнут был тяжелый. Мальчишка старался защитить лицо, закрываясь руками. Сопротивляться было бесполезно. У него хватило хитрости расслабиться и замереть, будто потерял сознание.

Сторож хлестнул кнутом еще раз, грязно выругался и заспешил к вагончику. Видно, он все-таки напугался.

Тимоха лежал, дрожа горячим телом. Сторож не выходил. Тогда он встал и побрел к станции, размазывая по щекам бессильные слезы.

Хрусталеv искал его.

— Ты где шляешься? Чего ревешь?

— Так. — Тимоха поднял воротник свитера.

— Ты не ври. Я, брат, не люблю вранья. Что случилось?

Мальчишка сбивчиво стал рассказывать про злого сторожа. Хрусталеv хмуро выслушал, ворочая выпученным глазом.

— Это дело нельзя так оставить. Проучить надо негодяя. В милиции акт составим.

— Не пойду.

— Это что за новости?

— Меня в детдом отправят...

— А, черт! — плюнул Хрусталеv и растерянно посмотрел в степь.

Казахи возились у коновязи, забрасывая тюки на горбы верблюдам. Один верблюд сердито рычал, оскаливая резцы. Казах замахнулся на него вервнем.

Лицо Хрусталева стало серым.

— Пошли.

— Куда?

— Не разговаривай. — Он грубо толкнул мальчишку в спину и повел к загону. — Здесь, что ли? Постой.

Поднялся на ступеньку и рванул дверь.

Внутри вагончика послышался крик, шум, что-то упало тяжелое. Потом все стихло. Тяжело дыша, инвалид выкатился из дверей, держа в руках сломанный кнут, и бросил его в ковыль.

— Чего стоишь? Иди добавь! — заорал он и ударил ногой по стоящему на крыльце ведру. Оно смялось, покатилося по валу.

— Не надо, дядя Леша, — испугался Тимоха, видя, что инвалид не в своем уме. Ходуном ходит.

— За ружье схватился. Я ему показал ружье. В контратаку не ходил, сволочь! Будь спок, я ему врезал. Запомнит...

Хрусталеv немного успокоился, обнял мальчишку за плечи.

Пошли к тупику, где женщина махала лопатой.

— А если он в милицию заявит? — сомневался Тимоха, стараясь идти в ногу.

— Никогда не дрейфь, сынок. Держи хвост пистолетом...

На станцию вползал короткий поезд. Паровоз, устало махая замасленными дышлами, остановился у водозаборной колонки. Из будки выскочил чумазый кочегар, повернул трубу за цепь в открытый тендер и отвернул задвижку. Вода толстой струей ударила в бак. Помощник машиниста выжимал ключом гриз в подшипники, щупал буксы, просовывая черную руку промеж спиц колеса.

В передних вагонах ехали военные. Они горохом сыпались из дверей, разминая ноги, пританцовывали, ржали, оглядывая степную даль.

— Что за станция? Девочек не видно...

Вздернутые гимнастерки были аккуратно заправлены под ремни. Новые сапоги начищены до лоска. Солдаты были сытые, краснолицые, будто не с войны ехали. Радость уцелевшего так и сияла на физиономиях. Хру-

сталев повеселел и прицелился на солдата, какой по-старше.

— Куда направляетесь?

— На Тентелевку...

— Понятно. Сухарика бы кинули. Я махры дам, — заторопился Хрусталев, с надеждой глядя на рябого ефрейтора.

— У нас целый ящик этого добра. И «Қазбек» есть. Угощайся. — Ефрейтор щедро раскрыл портсигар с монограммой.

Хрусталев благоговейно взял одну папиросу, понюхал.

— Табак. Год не пробовал, как с госпиталя выпи-сался.

— Бери еще. Где тебя зацепило? — Ефрейтор мотнул головой на культу, которую Хрусталев ненароком вынул из кармана.

— Под Сумами. Шестьдесят вторая...

— О, так мы из одного котла, почитай, лопали. Вот не ожидал! Не стесняйся...

Хрусталев взял еще две папиросины. Засунул за уши, по одной на каждую сторону, третью взял в зубы.

Ефрейтор улыбнулся:

— Погодь, махорки дам и сухарей. Обед не поспел, а то бы накормил.

— И так неплохо, — обрадовался Хрусталев, что встретил земляка.

Ефрейтор полез в вагон.

На платформе дымила походная кухня. Оттуда несло запахом кулеша.

Тимоха втягивал ноздрями сытый запах, обмирая истосковавшимся по горячей пище желудком, смотрел исподлобья.

Солдатики побежали к станции и скоро вернулись.

— Глухота, степь кругом...

Ефрейтор выскочил из пульмана, держа в подоле гимнастерки продукты.

— Собрали НЗ.

— Вот спасибочки. — Хрусталеv подставил мешок.

Ефрейтор стал скидывать туда пачки махорки, две банки тушенки, кусок сала, ржаные сухари.

Водокачку уже отвели. Паровоз заревел. Лязгнули буфера. Солдаты свесились на поперечной доске в дверях, оттуда послышалось рыканье гармошки.

— Давай, батя, жми на родину. Мы еще погуляем...

Ефрейтор протянул руку и прыгнул в вагон. Там сел на пол, свесив ноги, улыбаясь рябым лицом.

Замелькали платформы с зелеными машинами, поднимая ветер.

Все стихло.

Хрусталеv погрустнел.

— Не в ту степ едут, а то бы мы с тобой покатали за милую душу. Пошли жевать.

За будкой вагонников они повалились в бурьян. Хрусталеv разрезал сало и большую часть отдал Тимохе.

— Спрячь, мало ли, разминемся.

Потом вскрыл американскую банку с жирным мясом и намазал им два сухаря.

— Ешь про запас.

Окончив трапезу и напившись воды из ведра рабочей женщины, которая ушла убирать шлак от колонки, они легли за будку.

Яростно стрекотали кузнечики. Жаркое марево дрожало над землей. Опять на восток проследовал поезд, и выжженная солнцем степь затихла.

Тимоха и инвалид дремали в тени. Холодные пауки бежали по их спящим лицам.

Когда мальчишка очнулся, Хрусталеv разговаривал с женщиной. Она знала все новости по станции и поведала о своем житье-бытье. У нее было трое ребятшек,

которых она изо всех сил кормила на зарплату по уборке путей.

— Слава богу, четыреста рублей дают...

— Мужик-то где? — задал вопрос неугомонный Хрусталеv.

— Убит батька.

Хрусталеv засопел носом и вытащил из мешка тушенку.

— На, матка, похлебку сварись.

Женщина испуганно взяла банку. Кланяясь и отступая спиной к сторожке, приговаривала:

— Дай бог здоровья, добрый человек. Мои оборванцы сусликов наловчились ловить. Сварят и едят. Меня раз накормили. Душа не приняла, три дня чистило во все концы, думала — помру...

— Сусликов, говоришь? Тоже мясо. Они, сволочи, жирные, — рассмеялся Хрусталеv, сворачивая из газеты трубу для курева.

Женщина ушла в сторожку.

Мальчишка рассердился на инвалида, что отдал банку:

— Сами бы стрескали.

Инвалид больно щелкнул его по лбу желтым ногтем:

— Мало тебе сторож выпал.

Тимохе стало стыдно, понял, что дал промашку. Пожадничал.

От моста послышался паровозный гудок.

— Никак наш идет?

Хрусталеv повеселел, накинул шинелишку. Гулко ударил станционный колокол. Из низкого вокзала вышел милиционер и комендант. Мешочники, ссаженные с ночного поезда, прятались в овраге. Ждали момента, когда вагоны загородят пути для обзора. Милиционер посмотрел в обе стороны.

— Постой, с комендантом поговорю.

Хрусталеv сделал свирепое лицо и направился к стар-

шему офицеру, держа правую руку у козырька. Наклонив голову, комендант стряхивал невидимую пыль с жаркого мундира. Поезд приближался. Мешочники короткими перебежками лезли из укрытий, как тараканы, рассредоточиваясь по степи на всю длину состава. Инвалид вернулся ни с чем.

— Поезд битком. Обещал капитан. В крайнем случае на буфере приткнемся...

Паровоз дохнул горячим железом. Заскрипели тормозные тяги. Пассажирский встал на первом пути. Проводники никого не пускали. Хрусталеv влез на подножку, дубасил по стеклу. Комендант помахал рукой. Проводница нехотя открыла тамбур.

— Одного возьмите под мою ответственность, — крикнул капитан.

— Что у меня — резиновая плацкарта? Дыхнуть негде.

— Не рассуждайте. Инвалиду место найдете.

Милиционер двинулся к вагону. Тимоха испугался стража порядка, нырнул под колеса на ту сторону, от греха подальше. Люди бегали взад-вперед, не зная, куда прилепиться. Слышалась брань проводниц.

— Сдай, старая.

— Варвара, аль не узнала? Тетка я твоя двоюродная...

— Какая тетка? Ишь примазалась. Отойти, прищемлю.

Заголосил свисток. Локомотив выбросил облако пара, и поезд тронулся.

Тимоха рысью побежал рядом с вагоном, по опыту зная, что лучше обождать, пока поезд наберет скорость, никто не скинет на ходу. Ухватился за деревянную ручку и прыгнул. Мелькнула женщина с лопатой, колонка. Ветер загудел в ушах.

Тимоха успокоился, стал считать километровые стол-

бы. Под ногами неслась насыпь, сливаясь в полосы. Вагон мягко покачивался. Перегоны были длинные. Солнце садилось в теплую степь.

Дверь вдруг открылась. Хрусталеv собственной персоной!

— Давай под лавку, пока никто не видит!

В руке он держал железный ключ, которым отпер дверь. Запасливый был инвалид.

Тимоха нырнул ему под локоть. Полезли по чужим ногам. На верхних полках храпели мужики. Кричал ребенок. От духоты спертого воздуха щипало глаза. Хрусталеv очистил место под лавкой, сдвинув чей-то чужал под стол.

— Сиди, не рыпайся.

Мальчишка втиснулся туда целиком и положил голову на котомку.

Ехать было можно!

Скоро стемнело. Под стук колес Тимоха задремал. И снились ему воспитательница Вера Никаноровна, у которой он стащил из халата пять рублей, и детдомовские мальчишки.

Проснулся он среди глубокой ночи от резкой боли в животе. Терпеть не было сил. Надо было вылезать.

Он выкарабкался в проход. Хрусталеv, привалившись к перегородке, спал с открытым левым глазом. Вагон притих.

Тимоха добрался до туалета. Дверь была на защелке. Постучал, но там даже не брякнуло. Наверное, безбилетник ехал с комфортом на стульчаке. Напасть.

Пулей выскочил в тамбур, где на чемодане дремала женщина, держа в подоле пацанку лет четырех, прикрывшую лоскутным одеялом.

Хорошо, переходная площадка была не заперта!

Ходовой ветер между вагонами закручивался винтами. Железо перекидного мостика визгливо ерзало.

Зажмурившись, Тимоха долго брызгал на стальные буфера.

Пригляделся. Ночь была на исходе. Придорожные кусты обволакивал серый туман.

«Степь кончилась», — подумал мальчишка, втягивая ноздрями запах хвои. Перед самой войной он жил на даче в сосновом бору и помнил этот изумительный запах...

В вагон идти не хотелось. Поезд остановился на глухом разъезде и снова пошел. В соседнем вагоне стукнула дверь, слышались громкие голоса.

Шли ревизоры. Сильный аккумуляторный фонарь высветил площадку, но мальчишка успел пригнуться. Как ящерица, скользнул под ограждение и через буфер перепрыгнул на подножку.

Было еще темно. И он надеялся, что его не увидят. Для страховки спрятал тело за выступ вагона.

Ревизоры посветили в стекло, пошли дальше, проклиная беспокойную работу. Кажется, пронесло.

Руки слабели, но он боялся перейти на середину подножки. При каждом стуке вздрагивал, прижимался к вспотевшему железу. Хотелось пить, лизнул росу и ощутил запах полыни.

Так он ехал километров сорок, коченея на ветру.

Ревизоры обратно не шли, но мальчишка знал, что они обязательно пойдут перед большой станцией очищать тамбуры от мешочников, поэтому терпел.

Уже рассвело. На горюшках виднелись сосны, они были небольшие, но радовали глаз. Хрусталева спал в теплом вагоне.

Дверь на правую сторону распахнулась, и проводница закричала:

— Шадринск!

Тимоха испуганно сжался.

— Где это ты прицепился, мокрица? — удивилась же-

лезнодорожница, разглядывая его распухшее от ветра лицо.

— Дядя у меня в вагоне.

— У всех — дяди, тети. Геть, хлопчик. Свалишься, потом отвечай.

— Не, я крепкий.

— Чтобы духу твоего не было. В пикет сдам.

Поезд уже остановился. Мальчишка спрыгнул на гравий и чуть не упал: ноги застыли и были как палки.

Ранние пассажиры побежали к стационару за кипятком к бывшему эвакупункту, где местные бабы по сходной цене продавали шаньги с пасленом, мелкие яйца. Паровоз покати́л в депо. Смазчики поднимали крючками крышки букс, лили туда темное масло.

Здесь садились человек десять — пятнадцать.

— До Катайска, бриллиантовая.

— Мест нет. К бригадиру ступайте.

— Он сюда послал.

— Куда я посажу? За пазуху?

— Давай! — забасил безбородый мужик с фанерным чемоданом. — Вместимся, рассупонивай.

— Нахал бессовестный. Своей жинке скажи.

Проводница загородила могучим телом лазейки для «зайцев» и прочего дорожного мусора, стала пропускать самых шустрых. И того веселого мужика пустила, злости не хватило.

Начальник поезда сажал в мягкий вагон растопыренную даму в шляпе под вуалью. Носильщики метали в тамбур ее желтые чемоданы.

Из раскрытого окна высунулся лохматый Хрусталеv и нагло заорал:

— Тимоха, вали напропалую, через борт!

Мальчишка подпрыгнул и вцепился в протянутую дружескую руку.

Хрусталеv вдернул его в вагон в чей-то подол.

— Что ты, окаянный, живых людей давишь?

— Молчи, мамаша, в нем весу три фунта с гарниром. Бабушка зашамкала беззубым ртом, поправляя ладонью волосы под плат.

— Вошей от него наберется...

Она еще что-то ворчала, но инвалид ее не слушал, допрашивал Тимоху:

— Ты куда пропал? Думал, сбежал...

— Я выходил, вдруг контроль. Я на подножке спрятался.

— Ну даешь. Они тут шерстили, троих забрали. Давай есть.

Мальчишка полез под лавку за котомкой, да инвалид не разрешил:

— Мое прикончим.

Пугая старуху фронтовым резакон, поделил сало на тонкие листы.

Жевали с сухарем.

Какой-то хмырь, спекулянт дефицитных иголок — рубль штука, — принес чайник воды и разрешил пить всем, чтобы не завидовали его богатству. Хрусталеv выдул на шармака полчайника, даже спасибо не сказал, и передал мальчишке. Напились вволю.

Поезд тронулся, застучали колеса. Паровоз прицепили мощный: пер состав на совесть, дыму напустил полный вагон.

— Что они там, бараньим жиром топят? — кашлял Хрусталеv простреленным в бою легким. — Контроль будет, так под сапоги хоронись...

Мальчик притих, зажатый людьми, смотрел в окно, где мелькали столбы с проводами связи. Две разболтанные сороки летели наперегонки с поездом, виляя длинными хвостиками. Выдохлись, тетери, отстали. По откосам пошел сплошняком товарный лес.

Ехали четыре часа без стуку и грюку: ревизия, верно, утомилась шастать по вагонам и лаяться.

Замытаренный ночной ездой, мальчишка задремал, голова свесилась на грудь, безвольно моталась. От сладости сна из его рта текла детская слюна. Старуха отошла сердцем, достала каленое яичко и сунула Тимохе в карман.

В последний раз мелькнула узкая Исеть. Поезд пошел на возвышенность.

Перед Свердловском народ зашумел, задвигался.

— Паберегись! — кричал мужик из Шадринска, пропихивая фанерный угол мимо распаренных личностей.

— Батька, зубы выбьешь.

— Ишшо молочные, новые вырастут, — огрызнулся находчивый дядя.

Поезд встал.

Хрусталеv обождал, пока схлынет основной народ, и растолкал Тимоху. Поставил на ноги, тот даже не проснулся.

— Спишь, как лошадь, стоя. Хоть глаза открой.

Мальчишка пришел в себя, испуганно оглянулся.

— Куда они идут, контроль забрал?

— Приехали, горе луковое, поезд не идет дальше.

— А-а...

Котомка была цела, никто не позарился на такую рвань.

Вышли на перрон. Вокзал бурлил и кипел. Люди входили в ворота, толкались на площади. У колонн вповалку спали транзитники, подложив под себя скудные вещички, чтобы не увели блатные с фиксами и в прохарях, что крутились тут день и ночь, только глаза закрой — нос отрежут, не услышишь. Ревели детишки. Мамки бегали компостировать билеты и выяснять, когда пойдет поезд «бис». В буфете продавали суп без карточек, но туда было не пробиться.

Первым делом сунулись в санпропускник, но он не работал по случаю поломки центробежного насоса в ко-

тельной. Надо было ехать в город, искать баню. Тимоха взопрел под пиджаком, тело чесалось. Помыться не мешало, но он боялся уйти с вокзала: вдруг дополнительный поезд дадут. . .

— В умывальнике уши протрем, — сказал Хрусталеv, направляясь в туалет.

Тут тоже была очередь.

Инвалид вытащил из сидора обмылок, холщовую тряпку.

Мальчишка подставил под медный кран голову целиком, затылок заломило от холода. Железнодорожная грязь плохо смывалась. Пришлось намыливаться еще раз.

В очереди зашумели:

— Баню устроили!

— Известно, шпана неприкаянная! . .

Хрусталеv покосился выпученным глазом:

— Не вякай на сироту, желвак! А то я из тебя канифас-блок сделаю.

Мужчина с парусиновым портфелем испуганно появился за чужие спины.

Мальчишка и сам понимал, что задерживает людей, но не спешил. С наслаждением ополоснул голову. Вода потекла за шиворот.

Словно сто пудов снял с башки: стала легкая, кожу покалывало.

Инвалид протянул тряпку.

— Пойду в парикмахерскую, жди у киоска.

Вышли в зал. У касс гомонили люди — сутками ждали билеты.

Тимоха сел на пол за пустым киоском и рассматривал на стене портрет маршала Жукова в парадном мундире. Еще сохранился плакат военной поры: «Бей врага в фашистском логове!»

Мальчишка соскучился по книгам и читал все надпи-

си подряд, глаза у него были зоркие. И время двигалось быстрее.

Хрусталеv вышел побритый, благоухающий тройным одеколоном. Здоровой половиной лица он был совсем не старый — лет тридцати пяти.

— Порядок в бронетанковых войсках. На Киров десять часов ждать. Охренеешь. Пойдем на товарную, чем черт не шутит, вдруг сядем...

На путях сортировочной формировались составы на север, юг, восток и запад. Разобраться было тяжело, который куда. Хрусталеv и мальчишка храбро лезли под звякающие вагоны, расспрашивали составителей. Те отмахивались:

— Шуруйте отсюда, ребята. Охрана ходит, попадетесь.

— Мы свои.

— Вижу, что не фрицы. Тут литерный под пломбами, ссадят на первой станции.

Составитель замахал флажком, засвистел в свисток, висевший на губе. И полез под вагон соединять сцепки и воздушные шланги. Отчаянные сцепщики прыгали на ходу с подножек. Работа опасная — не до разговоров.

На пятом пути осмотрщик менял изношенные тормозные колодки у хоппера. Хрусталеv угостил рабочего последней папиросой, что берет за ухом вторые сутки. Тот раздобрился, показал на наливной поезд с прицепленным паровозом.

— Дуйте, если успеете.

Куда «дуть» — одни цистерны, прилепиться негде.

Побежали к паровозу.

Машинист и его помощник ходили около огромных колес мощной машины, мазали крейцкопфы. Дядьки были сухощавые, строгие.

Готовый к пробегу исполинский «ФД» пыхтел насосом, накачивая воздух в ресиверы.

Хрусталеv почтительно подошел к бригаде, взял под козырек.

— Братки, возьмите на тендер. Хоть пару прогонов...

Запаренный машинист вытащил из-под кулисы седую голову и длинным молотком сдвинул фуражку с малиновым кантом на затылок.

— На паровозе не положено посторонним. Начальство греет. Да и негде. С тендера вас охрана сметет.

Отвернулся и крикнул в будку:

— Евстигнеев, готово?

Из окна высунулся мокрый от работы кочегар.

— Готово! Топка разогрелась, посифоню малость.

— Стокер проверь.

Дело не выгорело. Оставалось ждать кондуктора.

Машинист оглядел Тимоху слоновьими глазками и спросил:

— Твой, что ли?

— Сирота он, в Ленинград едет, домой. Бежал из детского приюта, — пошел направо Хрусталеv.

— Ладно, шкета прихватим.

— Вот спасибо, выручили. — Хрусталеv стал рыться в карманах гимнастерки и вытащил красный тридцатник, который хранился на черный день.

— Спрячь, никому не показывай! — рыкнул машинист.

Инвалид крякнул от смущения. Главный кондуктор шел к паровозу с жезлом.

— Поехали, господа механики.

Машинист проверил табличку с названием перегона и сказал:

— Серафим, посади фронтовика. У нас места нет, сам знаешь...

Кондуктор пошевелил моржовыми усами и буркнул:

— Иди на тормоз. Носа не высовывай, пока с сортировки не выедем.

Хрусталеv обрадованно затрусил к площадке. Оглянулся — сел ли мальчишка.

«Господа» полезли в будку и посадили Тимоху на сиденье, слева от котла.

— Грей кости.

В будке было не продохнуть от пустынного жара. Пахло раскаленным маслом, перегретым паром. Тимоха таращил глаза на рычаги, начищенные трубки, манометры. С непривычки было боязно — впервые попал на живой паровоз. Не знал, на что и глядеть.

Машинист сел на правое крыло, спустил реверс с нуля вниз до упора.

— Поезд тяжелый, сто пятьдесят осей всучили. Дай песку, Макарыч.

Заревел гудок. Машинист двинул регулятор по гребенке. Пол вздрогнул. Помощник открыл воздух в песочницу. Колеса буксанули по рельсам, зацепились за песок. Поехали.

Паровоз закачался на стрелках, набирая скорость. Пригород остался позади. Колея петляла. Профиль пути был сложный. Шли в гору. В топке бушевало ослепительное пламя. С сатанинским визгом выль инжектор, подавая воду в котел. Винт стокера глухо ворочался в канаве тендера. Кочегар пудовой кувалдой колот крупные куски угля. Лица у машинистов были отрешенные. Люди служили яростному чудищу: кормили жирным углем, гладили рукоятки, кланялись беспрестанно.

Тимоха обалдел от грохота и свиста. «ФД» летел на всех парах. Проскочили перевал, начался другой.

Машинист держал сплюсненные руки на колесе реверса и вдруг закричал:

— Подними пар, растянемся!

Помощник глянул на манометры и побледнел.

— Стокер встал!

— Проверь еще раз! — рявкнул машинист.

— Винт заклинило. Ни взад, ни вперед...

— А, дьявол, — выругался машинист и заглянул в топку. — Ну, влипли. Теперь снимай штаны...

Мальчишка понял, что сломалась какая-то важная штука, потом догадался, что вышла из строя механическая подача угля в топку.

Помощник схватил лопату и стал валить угольную смесь в шестиметровую топку котла. Там ревело белое пламя. На колосниках фонтанировал раскаленный уголь. Рубаха на спине помощника взмокла. С лица ручьем лился пот. Вытирать было некогда. Он яростно совал резак в спекшийся от тысячеградусной температуры кокс, проделывал дыры для прохода воздуха. Красный резак вылетал в будку, прожигая деревянный пол, засыпанный мелким углем.

Тимоха, затаив дыхание, внимательно следил за слаженной работой суровых машинистов. Нет, это была не работа, а что-то другое, чему нет названия!

Когда перевалили девятитысячный подъем, бригада немного отдышалась. Помощник, с ввалившимися глазами, вытирал мокрую голову полотенцем, пил из медного чайника воду и вдруг подмигнул Тимохе:

— Ну как, едрена корень, нравится паровоз?

— Еще как! Надо же! Скорость сто километров в час. С рельс соскочим! — восторженно закричал Тимоха, выпившись в какую-то железяку.

— Не соскочим, не бойся, — ухмыльнулся помощник и крикнул машинисту: — Слышь, Петрович, что парень говорит?

— Что?

— Ему наш «ФД» по душе пришелся!

Машинист оскалил стальные зубы:

— Свой в доску. Механиком будет.

— Ага, — радостно согласился Тимоха, не понимая, почему машинисты развеселились, и подумал, жалко, что

Хрусталеv не видит этой прекрасной жестокой машины. Ему бы здесь тоже понравилось...

Помощник, все еще улыбаясь, вставил рычаг и стал качать колосники, проваливая нагоревший шлак в бункер. Потом ровнял жар и опять валил уголь в бушующее пламя.

Навстречу неслись станции. Кочегар Евстигнеев спустился по трапу и на бешеном ходу поймал жезл. Давали зеленую улицу. Машинист двинул регулятор на полную катушку.

— Господи благослови...

Началась настоящая работа.

Мальчишку укачало. Его слабое тело сползло на мягком сиденье. Он положил голову на подлокотник, пахнувший мазутом и потом, и задремал крепко.

Даже не слышал, как поезд остановился на узловой станции. Здесь паровозы менялись.

Прежде чем отцепиться и катить в депо, машинист «ФД» слез на качающуюся землю, подошел к резервному паровозу, который должен был вести наливной состав дальше, и крикнул:

— Митрохин!

Из будки показался машинист, вытирая замасленные руки обтирочными концами.

— Здорово. Чего скажешь?

— Эстафет прими от меня.

— Какой такой эстафет?

— Понимаешь, малец тут у меня на левом крыле спит. В Питер едет. Возьми с собой и передай по кругу, чтобы везли без помех.

— Небось его кормить надо? Мы сами зубами щелкаем.

— Да я картох дам, на сухопарнике спечете...

— Коли так просишь, давай своего иждивенца.

— Договорились.

Машинист «ФД» облегченно вздохнул и пошел к своему длинному паровозу.

Уже темнело. Помощник включил турбодинамо. Свет от лобового прожектора слепил глаза машинисту.

Счастливый день



Афанасий поднялся в зимник, срубленный из тонких лиственниц, стараясь не думать об этой женщине, смутившей его равновесие. Три часа назад она вышла с тяжелым мешком из распадка, еле держась на ногах. Потом немного поспала в доме и теперь куда-то исчезла.

Он включил питание, надел наушники. Рация медленно нагревалась. Он работал в телеграфном режиме, попискивал на ключе, как трясогузка, передавая данные об уровне воды в реке и температуре, сведения об отрядах.

Скоро он вышел, держа за ремень кавалерийский карабин.

Женщина собирала фиолетовые цветы среди камней. Наклонялась, откидывая руку на поясницу. Афанасий прожил здесь весну и лето, не замечая этих тщедушных растений, и теперь глядел на них с напряженным вниманием.

«Зачем она это делает?» — подумал он и сел на поваленное дерево. Разобрав затвор, протер куском мешковины детали, снова свинтил. Патроны с красными капсюлями спрятал в карман штормовки.

Он видел, как женщина шла к нему. Цветы подрагивали в ее руке. Она остановилась напротив. Он поднял голову, пригладил продымленные усы и произнес:

— Они сразу вянут — морозцем хватило...

И замолк, не зная, что еще придумать. От цветов шел холодный фиалковый запах.

— Я поставлю в воду. Они отойдут... Неужели вы один живете? Как-то не верится. — Она оглянулась, надеясь обнаружить признаки жилья за скалами, но ничего не увидела, кроме диких камней.

Он ухмыльнулся, ударил выпавший цветок прикладом и неуклюже сострил:

— Волк живет, собака живет, и я живу.

Женщина с испугом посмотрела на него, открыла дверь, вошла внутрь. Было слышно, как она брякала кружкой, черпая воду в ведре, хрустела веником. Афанасий расчувствовался оттого, что Роза, как она представилась, авралит в его «кают-компанию».

Он вывинтил шомпол, тряпичей прочистил канал ствола и поглядел в него на солнце. Канал был чист. Вставив затвор, Афанасий спустил пружину с боевого взвода, прислонил винторез к стене и вошел в дом.

В нем был полный порядок. Пол подметен, с корабельных часов пыль стерта, цветы красовались на рации.

Роза сидела на лавке, листала рванный журнал, выбранный из кучи хламья в углу.

Афанасий примостился на ящике у окна, молча разглядывал гостью. Все у нее было на месте: нечего прибавить или убавить. Лицо со сна немного припухло. Ему нравилось, что женщина не болтлива.

Он сдул с подоконника высохших насекомых, покашлял, не находя другого контакта. Женщина поежилась.

— Сыро у вас...

— Дожди проклятые... Сегодня первый день яснит, — хрипло выдавил он.

На левой руке женщины светился корунд в старинной оправе. Она машинально терла его о свитер. Руки — холеные, непохоже было, что в горах работала.

Словно извиняясь, Роза вздохнула:

— Соскучилась по дому, немного убрала у вас...

Голос у нее был приятный, низкого тембра.

Афанасий слишком долго жил среди голых утесов, он завороченно глядел на женщину. Она скривила треснутые губы в усмешку:

— Смóтрите — будто я с неба свалилась.

— Если вам неприятно, пожалуйста.

Он демонстративно отвернулся к окну, снова подул на огромного комара, лежащего на белой тарелке кверху лапками. Странно — как женщина могла заблудиться на прямой дороге... К тому же, у нее отличная карта. По его подсчетам, она уклонилась к западу. Идти обратно нет смысла: отсюда до устья Кривого ручья намного ближе.

Она, словно угадывая его мысли, стала говорить, что Маркушев, ее шеф, остался смотреть доломит, он сам отправил ее в лагерь, поскольку она уже ходила по той тропе. Но на спуске испортила компас.

Она искала его в полевой сумке.

— Вот...

Афанасий взял коробку с компасом, пренебрежительно повертел ее и швырнул в угол.

— Расколошматили. Будто трактор по нему проехал. Замену требует.

Снял со стены свой, которым не пользовался по той простой причине, что умел ходить по прямой, плюс-минус триста метров на снос. «Любому диверсанту даст два счка вперед», — шутил, бывало, командир десантников Ржевский, заметив эту редкую способность Афанасия, в ту пору сержанта срочной службы.

Роза обрадованно завернула компас в носовой платок и сунула в сумку, где у нее лежали таблицы, документы, пилки для ногтей, вазелин и прочие мелкие вещички личного пользования, необходимые в дороге. Благодарно улыбнулась, показывая белые, как молоко, зубы.

Афанасий заерзал на скрипучем ящике.

«Маршрут через перевал ни к черту, — подумал он. — Но другого выхода нет. По реке за два дня дуба дашь...»

Вслух ничего такого он не сказал, чтобы не расстраивать усталую женщину. Подскочил, шумно сбегал в ледник за кастрюлей. Вывалил в солдатскую миску жирные, красноватые куски заливного тайменя.

Еще у него имелось блинное тесто, замешанное с утра в ведерке. Афанасий разжег плиту и артистически набросал на черную артельную сковородку толстых оладий, разбойничьи похлопывая руками. Пока оладьи пеклись, поспел чай. В избушке стало уютно.

Роза ела горяченькие оладьи со сладкой рыбьей, оттопыривая изящный мизинец, будто в загородном ресторане сидела. Шмыгала носом. Видно, прохватило ветром в горах. С ее детской непосредственностью, она казалась Афанасию еще милее и неотразимее. Он подкладывал на ее тарелку лучшие куски. Вскользь поинтересовался, останется ли она до завтра.

— Ну что вы. Я отдохнула. И как можно? Маркушев явится, подымет тревогу. Начнут искать. Представляете? Нет, это исключено, — твердо объявила она.

— Ваше дело. Но я бы не советовал идти сегодня.

Он вздохнул, достал кисет, шитый бисером, — подарок одной любвеобильной поварихи из Хатанги. Вырвал клочок из журнала, слепил сигарку и закурил. Раскаленные зерна махорки сыпались на голенища.

Роза тихо пила чай, с испугом разглядывая его лицо, рассеченное глубоким шрамом от уха до уха. Когда-то при посадке ЛИ-2 на брюхо Афанасия полоснуло равным шпангоутом — хорошо, жив остался.

Аскетическая жизнь приучила его к сдержанности, но сладковатый запах духов от женских волос волновал, тревожил. Афанасий вышел на свежий воздух, чтобы не смущать гостью своей каторжной физиономией.

С океана тянуло холодом. На горизонте лиловела туча, стоявшая там со вчерашнего дня как прикованная.

«Шторм несет», — с тоской подумал он и вернулся на станцию.

Роза управилась с нехитрой едой и теперь задумчиво читала старый журнал. Лицо было сосредоточенным, от жара плиты уши порозовели.

Наконец она заметила его, отложила книгу и напялила на себя пухлую нейлоновую куртку.

— Пора. Засиделась у вас чтой-то...

Она милостиво улыбнулась и вышла.

Афанасий решил проводить ее до перевала, а на обратном пути завернуть на ягельники, где вчера видел быков-недорослей, разжиревших на обильных пастбищах. Ребята будут рады свежей телятине. Вертолет прилетит за техоборудованием завтра, если устоится погода. На всякий случай написал записку, положил на рацию, вылез следом за гостьей.

Роза шнуровала белые кеды. Она вопросительно посмотрела на Афанасия, когда тот взвалил ее мешок себе на плечи.

— А вы куда?

— Известно куда. Провожу. Дорога худая.

— Зря беспокоитесь, — заартачилась было женщина, но он уже повесил карабин на шею и зашагал по тропе.

Шел он, как всегда, ровно, размашисто. Вещи в рюкзаке были уложены не по-людски — кололи спину. Он положил руку на цевье карабина, другую — на ложе, чтобы кровь не скапливалась в кистях: после той чертовой аварии руки ломило при длительной ходьбе.

Он немного пропотел, вошел в ритм. В скудной траве, высываясь из нор, свистели мыши, но спутница Афанасия не замечала их. Она думала о чем-то своем, подняв разгоряченное лицо к солнцу.

— Смотрите под ноги, — предупредил он. — Хряпнетесь — костей не соберете...

— Не хряпнусь, ученая, — засмеялась женщина и стянула с головы платок. Волосы ее под ветром парусили.

Афанасий втайне любовался молодой геологиней, не в силах оторвать от нее взгляда. Вспомнилась похожая на нее девушка. Та работала в зоопарке, ухаживала за слоненком. Слоненок, будто понимал красоту, хоботом нежно трогал пушистые волосы девушки.

Афанасий заулыбался покалеченным ртом, по-свойски брякнул, обращаясь к Розе:

— Замужем али холостячка будете?

— Свататься собираетесь? — Женщина поморщилась, давая понять, что вопрос неуместен. Все-таки они были вдвоем в каменной пустыне.

— Самостоятельный мужик-то? — не унялся Афанасий сдуру. Совсем разучился травить, ухаживать за женским полом. Курам на смех.

Роза полоснула синими глазами:

— Что вы, право, заладили? Самостоятельный... Терпеть не могу мещанских словечек. Ради бога... — Она брезгливо махнула рукой и отвернулась.

Афанасий крикнул, подкинул мешок и больше не лез к ней с глупыми вопросами. Что спрашивать! Наверное, замужем, девка добрая. Таким в поле трудно, мужики проходу не дают. Всегда найдутся любители. Красивую женку на пир зовут...

Идти было легко. Тропа, устланная плотным диабазом, шла над обрывом. Река мчалась, неся бешеную пену. По берегу бегали трясогузки, от холода втянув в плечи головы. На перекате играл хариус. Таймень бухал, будто чошадь с трамплина. Рыба скатывалась на зимние квартиры. У Афанасия тут стояла сетка — будет чем кормить братию, изголодавшуюся на сухомытине: скоро должны из поиска воротиться. Он удовлетворенно крикнул:

— Дорога — как на Красной площади брусчатка!

Женщина капризно заметила, что он идет слишком быстро.

— Сейчас привал сделаем, — пообещал он и посмотрел на тучу.

Она надвигалась неумолимо.

На повороте с огромной высоты падал сверкающий водопад. Выдолбленная им в известняке белая чаша была полна кристальной воды.

Афанасий скинул вещи на плиту, сел поудобней, чтобы отошли ноги. Роза тотчас бросилась к каменной чаше.

— Вода прелесть... Век бы пила. Такого чуда нигде не сыщешь.

— Только здесь еще и осталось, — подал голос Афанасий и строго добавил: — Много пьете.

Роза утерлась платком, потом накрыла им голову, завязав концы под подбородком, села напротив.

У нее мелко подрагивали коленки, и Афанасий подумал, что женщина не выдержит ускоренной ходьбы. А еще пожалел, что захватил карабин, — как-никак дополнительный груз. Отдать его спутнице он не решался — еще шлепнется, мушку своротит или приклад кокнет...

На высоте сияли зубья утесов. Он прикинул, где лучше забираться: тут были две тропки, обе — не приведи бог.

Роза вдруг расчирикалась:

— Ой, я однажды осталась в лагере одна-одинешенька... Боялась, думала, с ума сойду. Бидон с маслом виден из палатки — и уже не так страшно: стоит домашний мирный предмет. А вот если сапог у входа — это неприятно... У вас так бывает?

— Чего? — удивился Афанасий и развеселился, дрыгнул ногами: — Ну даете! Сапога бояться!.. Охо-хо! — заливался он от души.

Женщина рассердилась:

— Что вы, как конь, ржете? Ничего смешного. Должен быть у каждого нормального субъекта страх перед дикой природой, ощущение непоправимой зависимости? Вам этого не понять, наверное...

Афанасий оборвал душивший его смех, смущенно почесал в затылке:

— Оно, конечно, привычка нужна... Меня утром трясузки будят. Шаркают по брезенту палатки, ловят комариков. Летом я ночую в пологе, в избе гнус одолевает, — пояснил он и продолжил: — Лежу, радуюсь птичьей возне — день настал...

Афанасий начал молотить всякий вздор о нехитром своем бытье, о треклятых комарах, что жизни не дают, — налетит столько, что в пультман не вместить. Получалось, ему нечего было сказать. Хотел анекдот с картинками ввернуть, да остерегся: деваха столичная, смажет по косяй роже — есть быстрые на руку...

Роза жалостливо вздохнула от бедности его мысли, перебила: мол, неужели другой работы нет — что это он жизнь тратит на краю земли в безмолвии?

— Есть еще какая специальность?

— Как же, — заторопился Афанасий и стал загибать пальцы: — Шофером мантулил на трассе, верхолазом, на припске учителем был — вот, скажу, работенка: полгода не вынес. Потом летал бортрадистом, на краболове палал...

Он вдруг замолк, лицо его погрузнело. Женщина уловила горечь в признании, поняла, должно быть, что этот дикарь, изуродованный шрамами, намного сложнее, чем она думала. Видно, жизнь колотила его, волокла по шпалам. Не нашел парень себя, ищет беспокойную дорогу...

Она уже немного привыкла к его лицу. На фоне белой скалы резко выделялись волевые губы, подбородок, породистый нос и этот шрам. Мощная красота таплась во всей его фигуре. Сейчас он пялился на спутницу ясными волчьими глазами. Какая-то борьба шла у него внутри.

Она смутилась, встала:

— Ну что же, идемте.

Он поднялся, накинул рюкзак, взял под мышку карабин и зашагал в гору. Женщина шла позади. Он слышал ее сбптое дыхание, но не оборачивался.

Подъем становился головокружительным. Одолевали крутые осыпи. Утренний мороз отошел, камни потели. Со скал свешивались деревья. А еще выше их вовсе не было. Белая река внизу блестела. От тучи стерильно пахло снегом.

Афанасий подумал, что надо успеть миновать перевал, пока светит погода. Он прибавил шагу. Роза смахивала с лица пот, по-бабьи лезла напролом через каменные кюветы, завороты. Туча расплывалась, но солнце еще грело горы.

Он пожалел, что долго отдыхал у водопада. Женщина начала отставать. Он оглянулся. Лицо ее посерело, глаза ввалились, волосы свисали мокрыми прядями.

«Воды хлебнула», — раздраженно подумал он и крикнул:

— Пошевеливайся!

— Рука болит, — схитрила женщина и остановилась.

Он подошел.

— Что там приключилось?

Она засучила рукав. На запястье синел кровоподтек. Афанасий пощупал твердыми, как железо, пальцами опухоль, вытащил из кармана индпакет, разорвал его и туго стянул бинтом руку женщины почти до локтя.

— Как это вас угораздило?

— Споткнулась.

— На ровном месте падаете, что дальше будет? Шею сломать недолго, — заворчал Афанасий. — Еще повезло — простой ушиб. Придете, горячую ванночку с марганцовкой. . . Есть марганцовка?

— Была. — Женщина сжала пальцы, пошевелила ими. — Теперь легче.

Он снова двинулся, подавая ей руку в отвесных местах, и все время торопил ее, будто издевался над ее слабостью.

Она тяжело лезла на плиты, рая коленки. Лишняя

вода из нее давно вышла, губы пересохли. Она часто облизывала их. Он шагал как заведенный.

От усталости, от боли в руке ее распирала злость, будто он был виноват, что она очутилась на этой ужасной дороге.

Наконец они достигли хребта. Резко посвистывал ветер. Зловещие тучи клубились вокруг падающего солнца. Слепила пыль, сметаемая со скал. С этой стороны осыпи были еще круче. Под ногами хрустели и шевелились камни. Сапоги соскальзывали с них.

Афанасий не любил ходить под гору — знал, что это особенно опасно. Теперь он шел медленнее. Карабином осторожно прощупывал тропу. Иногда садился и съезжал вместе с каменным потоком.

Роза следовала за ним. Глаза ее застыли от напряжения. Казалось, она вот-вот упадет, разобьется. Афанасий подбадривал ее глупыми шутками:

— Плетешься, как старуха на богомолье...

На редких террасах она останавливалась, трясущимися руками разворачивала компас и проверяла направление. Не мерещилось ли ей, что она попала в каменные джунгли, откуда нет возврата?

Тропа стала более сносной. Худосочные лиственницы с великим трудом держались в скальном грунте. Афанасий увидел на деревьях зарубки и консервную банку на суке. Видимо, здесь отдыхали изыскатели.

В ложбине паслись белые куропатки. Сверху они были хорошо заметны. Рывками пролетела стая полярных пуночек. Афанасий проводил их взглядом и обернулся. Роза сидела на опрокинутом стволе дерева. Издали она была похожа на растрепанную ведьму.

— Эй! — крикнул он.

Она не пошевелилась.

По ее отсутствующему лицу он понял, что Роза не в силах встать. Как быть? Не нести же ее на руках...

— Долго я буду с тобой валандаться? — взревел он. Шрам на его лице побагровел. Афанасий знал, что, если не кричать, она совсем раскиснет. Он подождал. Роза медленно поднялась. В ее глазах колыхнулась ненависть. Афанасий усмехнулся. Женщина еще может злиться — значит, кое-какие силы таятся в ней.

— Жестокый вы человек. На мне места живого нет. О господи, я не могу... — почти беззвучно выдохнула она.

— Через не могу, — грубо ответил он и отвел взгляд от ее порванных выше колена джинсов.

Она прикрыла лоскут ладонью.

— Теперь недалеко. — Он отстегнул с отворота штор-мочки булавку и протянул ей. — Пришпильте.

Она взяла и наклонилась. Он пошел вниз. Сквозь лиственницы мелькнул стальной пояс реки.

Седая мгла висела в ущелье. На длинной косе дымил костер. Палатки стояли у самой воды. Здесь, на высоте, было холодно, внизу тоскливо кричали черныши, кружа над голодной рекой.

Надо было вернуться на базу, пока не началось столпотворение. А так хотелось потолкаться среди обожженной ветрами братии, поговорить, посидеть у огня, узнать новости.

Он с сожалением остановился, снял рюкзак и подождал. Когда Роза приблизилась, объявил:

— Дальше сама управишься. Утром мне вертолет встречать.

Отставив ногу, вытащил кисет, свернул сигарку. Он уже отпочковался от женщины и не замечал ее пугливого взгляда, направленного вниз. Там все было затянуто странной кисеей, но спуск был ровный.

Афанасий помог ей закинуть тугой мешок за спину. Плечи у нее были жидкие. Она качнулась, и слабое подобие улыбки порхнуло по ее измученному лицу.

— Без вас я пропала бы. Благодарю вас, Афанасий.

Кончится сезон — напишите в управление Морозовой, если сочтете нужным. . .

Женщина протянула забинтованную руку. Он осторожно пожал ее и ободряюще кивнул:

— Спускайтесь, я прослежу. Берите левее той скалы. . .

Она не поняла, почему следует идти там, где тропа хуже, но свернула, поминутно оглядываясь. Фигура ее скрылась за поворотом, потом показалась у выветренных скал. Роза спускалась все ниже — на дно ущелья, к бешеной реке. Вот она совсем исчезла.

Тогда Афанасий зарядил карабин, прицелился в дряхлую скалу, под уродливую лиственницу, где хотела пройти женщина, и пять раз гулко выстрелил.

Пули с визгом откалывали куски болоны и коры. Лиственница съехала вниз и повалилась, камни мягко, будто в войлок, падали на тропу.

«Дуреха, — подумал он о Розе. — Совсем без понятия ходит. Тут горы, черт подери. . .»

У него было острое зрение. Он увидел, как потревоженный выстрелами человек поднялся от костра и пошел навстречу женщине.

Афанасий закинул еще теплое оружие за спину и быстро зашагал на дымящийся перевал.

Он приполз на станцию, весь мокрый от непогоды. У него хватило сил растопить плитку, переодеться в запасную одежду.

Пламя свечи колебалось от ударов ветра. Он не понимал, как мог дойти в таком вихре. Вскоре почувствовал, что его скрутило. Принял таблетки аспирина, хранившиеся в аптечке, поставил увядшие цветы у постели, выпил кружку кипятку с плохо растворившимся сахаром. Потом сверил корабельные часы по рации, провел сеанс с Плешаком и Сундуковым и еле выловил из хаоса волн короткий префикс Ипатова — все отряды предупредил о надвигающемся шторме.

Несколько успокоясь, но все еще дрожа, Афанасий накалил на жестяных конфорках булжнич, завернул его в тряпку и улегся с ним в спальный мешок.

Над горами летел ветер — нес заряды мокрого снега. Жилье сотрясалось. Постепенно шелест снега становился суше.

Афанасий закрыл глаза и, проваливаясь в сон, успел подумать, что день выдался, как никогда, счастливый.

Пианино в рассрочку

Юлька сошла с поезда, огляделась по сторонам, не зная, куда идти. Домики утопали в тяжелой августовской зелени. В тупике стояли пустые полувагоны. На одном кто-то накорябал мелом: «Тише едешь — морда шире».

Поезд ушел. Юлька подняла чемодан и направилась к станционному рабочему, который смазывал стрелочный перевод, макая тряпку на проволочке в банку с керосином. На сальном пиджаке у него была какая-то медаль. Он трогал ее рукой, бормоча что-то под нос.

Когда Юлька спросила его, где пристань, он недовольно буркнул:

— За водокачку идите.

Опять потрогал медаль и задудел в рожок. Дрезина побежала по белым рельсам к мосту. Юлька пошла туда, спустилась к дебаркадеру. Несколько человек сидели на открытой палубе теплоходика местной линии. Матрос обходил пассажиров и отрывал билеты. Последним прибежал подвыпивший мужичонка в сандалиях на босу ногу. Из рубки высунулся капитан, и матрос крикнул ему:

— Федор Аверьяныч, поехали, никого больше не будет!

За кормой забурлил винт.

Река текла среди лесистых холмов. Ветер доносил запах хвои. От борта к борту бегал упругий, как окунек, мальчик и, увидев бакен, восторженно вопил:

— Ма, бочка красная!

Его мать, сидевшая рядом с Юлькой, заинтересовалась, куда и к кому она едет.

— К брату, — не задумываясь ответила Юлька, решив, что будет говорить так всем. А что она могла сказать? Сама удивлялась своему безрассудству — ехать за тридцать земель к незнакомому человеку. Видела его единственный раз.

После курсов она работала в универмаге всего несколько месяцев и не могла привыкнуть ладить с людьми. Все у нее получалось не так, а тут деньги пропали: несла сдавать их с розницы. В толпе кто-то толкнул, она вынула руку из кармана, где они лежали. Еще перекинулась парой слов со знакомой билетершей, выпила стакан газировки и только тогда спохватилась — деньги исчезли, без малого двести рублей.

Через полчаса ее вызвали в кабинет начальницы и заставили писать объяснительную записку. Деньги нужно было возместить в кратчайший срок. Вернулась она в слезах. Какой-то парень в сером деревенском макинтоше и шляпе с завернутыми полями увидел ее, подошел и стал приставать. Обычное явление — выпьют и приходят в магазин развлекаться. Так она поняла. Он облокотился на витрину.

— Что-то я тебя не видел раньше в этом эпицентре. Ты новенькая?

— А иди ты. . . — отмахнулась она.

Он вздохнул, кривя губы в полуулыбке. Зубы у него были белые.

— Не скажешь, что ты очень уж вежлива, а?

Юлька смутилась, утерла слезы и уперлась лбом в косяк перегородки, подергивая левой ногой, как цапля,

завязшая на болоте. Он посвистел что-то бравурное и задумчиво произнес:

— Заело что? Три к носу. — Протянул лапу. — Будем знакомы. Боб Евдокимов...

— Хоть ты Разбоб! Ходят в хлам пьяные, — вскинулась Юлька и, трахнув дверцей, убежала в подсобку. Когда она вернулась в зал, Валентина Карякина, дежурившая на подхвате, сказала ей, что парень в шляпе доктыывался, почему Юлька ревела и прочее...

Юлька не придавала этому значения: мало ли занудных типов. Оправила халатик и начала торговлю.

В том-то вся и загвоздка была, что Евдокимов через час явился снова и выложил на прилавок конверт.

— Разбогатеешь — отдашь. Тут мы скинулись. Чего там...

Был он худ, как мальчик. В его манере держаться прямо было что-то обаятельно спокойное. Юлька доверчиво взяла конверт, пока разворачивала его, парня и след простыл. В конверте — пачка пятерок. Она не знала, что и думать. Поделилась с Валентиной, та уверенно заявила:

— Бери, дура, расплатишься с бухгалтерией, потом накопишь. Это я ему проболталась, что ты деньги потеряла. А он, видишь, удумал...

Юлька стала ждать, когда придет Евдокимов. Так долго ждала, что потеряла счет дням.

Это было в апреле, а в июне на нее свалилось горе: от приступа стенокардии умерла мать.

Юлька оцепенела, после работы шлялась по набережным, заглядывая в быстротекущую воду. Боялась идти домой. Встречая одиноких женщин с блуждающими глазами, невольно думала: «Наверное, и я такая несуразная, никому не нужна. Хоть бы этот Боб пришел, что ли!»

И вот уже в августе на универмаг пришло короткое письмо от него. Спрашивал, как дела, что новенького в городе. Оказывается, он в командировке. Последняя фраза в письме была: «Буду весьма рад, если ты приедешь

сюда в отпуск, тут можно прекрасно отдохнуть: природа на высшем уровне».

Прочитав это послание, она почему-то пошла к грузовому лифту, залезла в него и стала давить на все кнопки подряд. Ездила вверх — вниз, пока техник Митрофанов не застопорил лифт с пульта в подвале и не выгнал ее. На другой день она взяла отпуск, и...

Теплоходик загудел. Юлька очнулась от невеселых раздумий. Тот мужичонка спал на корме, подложив под голову сандалину, другая — на ноге.

Река сверкала. Рядом с фарватером высывалась верхушка мачты. Вездесущий мальчишка радостно объявил:

— Пароход затонувши, одна палочка торчит!

— Капитан пьяный ерыхнул пароход об камень. У нас река порожиста где... — пояснила чистая старушка в ситцевом платье.

Женщины подозрительно посмотрели на рубку, где веселый капитан перекидывал колесо штурвала.

— Этот и в рот не берет, Федя-то, — успокоила всех старушка. Она была говорунья.

Теплоходик бежал и бежал, потом пристал к берегу. Женщина с мальчишкой сошли. Какая-то цыганистая тетка у трапа продавала чернику и копченых лещей. Юлька купила рыбину. Снова зазвенел дизелек.

Берега менялись. Пошли желтые поля. Под самым берегом в облаке пыли и половы ползал комбайн.

Старуху звали Аграфена Степановна Варваркина. Узнав, что Юльке негде остановиться, пригласила к себе на квартиру.

— Живи. Я внука с невесткой провожала. Слава богу, приехали...

Теплоходик подбежал к пристани. Матрос легко выпрыгнул на доски, намотал веревку на кованые крючья,

выдвинул сходни. По настилу бегала тяжелая собака, обнюхивая приезжих. Наголо стриженный паренек поймал ее, бросил в воду. Собака поплыла, разведя большую волну.

Место было открытое, красивое. Поселок тянулся по берегу. На улице гомонили дети. Аграфена Степановна ковыляла по изрытой колее, ласково приговаривая:

— Сейчас чайку попьем, оглядишься. Вон моя хатка...

Отстегнув калитку, пропустила Юльку вперед. Темная изба с подслеповатыми окошками осела на угол. Крыльцо было заляпано куриным пометом. В прохладных сенях пахло яблоками и забродившим квасом.

— Ой, пойду узнаю сперва, — нерешительно сказала Юлька, ставя чемодан у двери.

Старуха объяснила, где найти командированных:

— Со студентами вместе живут...

Юлька захватила сетку с едой, заспешила к площади. Дом был только что отстроен. Под окнами валялись небутанные щепки, стружка. Она постучала в дверь. Оттуда крикнули:

— Не заперто!

Переступив порог, очутилась в комнате, залитой солнцем. По стенам были расположены койки с тощими матрасами. Пол заскоруз от грязи. На одной койке, поверх одеяла, лежал детина в спортивных штанах и майке, с захлапленным бородой лицом.

— Кого потеряли?

Она сказала.

— На работе все. Я — Баранов.

— Очень приятно. — Юлька оглядела затоптанный пол и поморщилась: — Неужели подмести трудно?

— Чего мести? До потолка еще высоко. У меня радикулит...

Бородач ухмыльнулся, сел на койке, сунул ноги в тапочки.

— Вам, собственно, он зачем?

— Собственно, не ваше дело, — покраснела Юлька. Ей не нравился этот допрос. Она села на табурет и заправила волосы за уши.

— Он мой друг, поэтому я и спросил, — сказал Баранов.

— Второй сорт...

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать, что друзья бывают разные...

Баранов тоже начал злиться. Сейчас он выгонит ее... Она поерзала на табурете и примирительно сказала:

— Ладно, не сердитесь. Я устала в дороге...

У Баранова было не лицо, а роспись по лицу — следы несчастного случая или жестокости палача. Так она глупо подумала, глядя на него. Он потрогал бороду, прищурился:

— Думаете, я тать и разбойник?

— Это одно и то же, — поправила она и отреклась: — Я ничего не думаю.

— Все так думают. — Он вздохнул и погрустнел. — Будь оно неладно. Нарушил пункт седьмой правил техники безопасности.

Бородач раздвинул рот. Половинны зубов у него не было. Юльке стало стыдно.

— Что вы здесь делаете?

— Ждем экскаватор. Из бригады нас трое, помогаем студентам лепить коровник. Председатель обещал снабжать продуктами, если мы поработаем у него. Без экскаватора нам все равно делать нечего, мы согласились. Наша база в двадцати километрах отсюда. Будем распечатывать мраморный карьер...

— Что значит распечатывать?

— Будем рвать скальный грунт, пока не доберемся до жилы... Потом двинем на север. Знаете песню: «И носило меня, как осенний листок...» — пропел он и псвалился на койку. Видно, ему было тяжело сидеть.

Юлька пожалела, что грубила ему.

— Пойду. Как найти стройку?

— Мимо РТС, там сами увидите. . .

Она поблагодарила и вышла. Солнце резало глаза. У мастерских стоял трактор без одной гусеницы. На коротких сидели механики в замасленных кепках, что-то обсуждали, заглядывая под брюхо машины. Перед въездом на стройку торчал указательный столб. На перекладине висел лемех и тихонечко ныл на ветру, как больной зуб.

Новый коровник был подведен под крышу. Студенты таскали на чердак раствор, утепляли потолки. Чавкала бетономешалка. Две девицы, бесстыдно оголенные, с какими-то жиденькими тряпочками, едва прикрывавшими груди, просеивали песок, кидая его лопатами на решетку. Размятые их животы сыто блестели.

Юлька прилипла руками к березе, ощущая ласковую сухость коры, и озиралась по сторонам.

Евдокимов вышел из ворот склада с пакетом цемента на плече. Осторожно опустил его на землю, локтем согнал пот с разгоряченного лица. Студентки засмеялись:

— Умаялся минер. Пожалеть некому. . .

Одна, что была повыше, обхватила его сзади руками, повисла на нем.

— Неси, Боб.

— Куда?

— Куда хочешь. . .

Он расцепил ее руки, небрежно сбросил девушку на песок.

— Что ты за парень? Фи-и, — обиделась она, вставая на ноги.

— Шла бы на угол, там тебе место.

— Лиля, он опять хамит. . .

— Он монах-картезианец, — сострила вторая. — Устав слишком строгий.

— Ага, — сказал Евдокимов. — Мясо нам запрещено есть.

Отошел от них. Юлька направилась к нему.

По тому, как он протянул ей руку, она сразу поняла, что он растерялся:

— Пойдем к реке.

— Я с первым парходом...

— Что же телеграмму не дала?

— Так получилось, — натянуто сказала Юлька, стараясь идти в ногу.

Какой-то мордатый студент в куртке с эмблемой крикнул:

— Недолго, Боб, машина на подходе...

— Я сейчас.

Узкую тропу переплетали корни. Юлька спотыкалась о них. Внизу сверкнула река. Обрыв зарос красным вереском. Юлька постелила чистый платок, поставила на него стопочку, бутылку «Апшерона», развернула копченую рыбу и заботливо сказала:

— Перекуси, небось проголодался.

— Коньяк зачем?

— Ну уж. Отдай кому, если не будешь...

Ей стало нехорошо, неловко, готова была провалиться сквозь землю. Он взял бутылку, отнес на стройку и, вернувшись, упал в жесткий вереск, стал есть, отрывая шкуру леща немытыми пальцами.

Юлька сидела, вытянув ноги, перебирала в сумочке вещи: сиреневую помаду, кусачки-щелкунчики, зеркальце. Вытащила деньги, перетянутые универсамской резинкой.

Он нахмурился.

— Значит, разбогатела? Ну-ну...

В его голосе слышалось раздражение, наигранное презрение к деньгам. Она их собирала по копейке, все отпускные...

Над водой носились ласточки. Юлька оторвала стебелек вереска, жевала его, чувствуя во рту сладкую горечь. Сердце мучительно сжалось, что-то томило: непроч-

ное ли обладание жизнью или пустота, в которой она жила после смерти матери.

Разговор не клеился. Спросил, как доехала.

— Ничего. Душно было в вагоне, — скучно ответила она и стала рассказывать про женщину, ехавшую с ней в одном купе, неприятную злую особу. — Пять раз садилась обедать! Представляешь, под столиком раздавленные помидоры, стаканы, скользкие от жира. Я в тамбур выходила...

Юлька вздохнула, не зная, что еще сказать. Он закурил сигарету и задумчиво смотрел на реку.

Со стороны стройки послышался топот: кто-то бежал по тропе.

— Боб, машина уходит!

Он поспешно встал.

— Извини. За арматурой надо ехать. Вечером увидимся. Пока...

Легко побежал, даже не оглянулся. Юлке показалось, что он обрадовался поездке. Конечно, и письмо прислал, чтобы напомнить о долге. Она вообразила невесть что, дура рязанская...

Лицо ее задрожало. Уткнулась в горячую землю, следила за муравьем, который искал дорогу к дому, нервничал, бегая взад-вперед. Поддела его травинкой, забросила в кусты. Дико шумели сосны. Под их монотонный гул она задремала на солнцепеке. Сквозь сон услышала тягучий звон лемеха.

Подскочила, не понимая, где находится, разыскала под корнями сетку. От лежания на земле тело болело, на руках — вмятины от прутьев.

Солнце стояло низко.

На стройке давно никого не было. По белым балкам прыгали две сороки и трещали без умолку.

С пастбища гнали стадо, голов семьдесят. От жвачки у коров текла зеленая слюна до самой земли. Гнусного вида овчарка, с прошлогодними репьями в шерсти, тру-

сила по обочине. Женщина-пастух на приземистой лошади силно крикнула:

— Куда, блудня? Я тебя...

Отставшая корова, подняв хвост трубой, побежала рысью. Собака молчаливо схватила ее за ляжку. Стадо прошло. Дорога пахла полынью, навозом.

Юлька молоко только магазинное пила. В городе люди вообще не думают, откуда пища валит на стол... Представила себя на лошади: осипнешь, на ветру целый день...

Перекинулась мыслью на Евдокимова: странный он. Нелегко понять человека. Для своих неполных девятнадцати лет она много и неразборчиво читала. Наверное, не то, что нужно... Сомневалась во всем. Могла, например, спросить незнакомого человека: была ли Сафо публичной женщиной? Шарахались. Отводили глаза: малолетка интересуется...

Мать умерла — ни одной слезинки не выкатилось. «Камень, бессердечная», — говорили. Как объяснить? Мать уходила в вечернюю смену, оставляла ее одну. Ошивалась на кухне Юлька. Сосед Рыбаков хлебал манную кашу: у него была язва желудка. Недовольный постной трапезой, он всхлипывал над тарелкой, сучил ногами, разглагольствовал:

— Ну что, сеструха, гуляем? Терпи, безбатешная команда.

И ложкой, судорожно зажатой в бронированном волосатом кулаке, черпал жидкую кашу. Юлька забивалась в угол, пытаясь играть с куклой, у которой не хватало половины шиньона... Мать не была зарегистрирована с отцом, когда он разбился на взлете. Мать часто повторяла, что хорошие люди всегда гибнут на взлете. Странное суждение однако...

У столовой студенты резались в волейбол. Юлька остановилась у столба. Играли красиво, ничего не ска-

жешь: хлесть по мячу, хлесть... Третьекурсник с целлулоидным козырьком на лбу крикнул:

— Девушка, идите на подмогу!

— Я плохо прыгаю. Где Евдокимов?

— Машина не пришла. Вы не переживайте, — рыскал глазами на ее ноги, засмеялся.

— Я не переживаю. С чего вы взяли?

Златокудрые девы в брючках настолько тесных, что на бедрах проступали швы шелковых трусов, кривили рты:

— К нему приехала.

— Бесподобна. В чем душа держится у бедняжки...

Видные девки, прокуренные, глумились. Чтобы не закричать на них, повернулась, пошла прочь, презрительно усмехаясь.

Хозяйка перебирала на крыльце козий пух.

— Легка на помине. Думаю, куда деушка делась? Вот идет, свечечка белая. Брата встретила, а не веселая?

— Его за железом услали, не скоро и будет.

Старуха поднялась, держа руку на пояснице. Коза на бугре мкнула, натянула веревку.

— Погодь, козу сдою, молочка тепленького выпьешь. Кеть, кеть...

Было слышно, как на дальней ферме включили машинную дойку. Через дорогу лениво переругивались бабы:

— Я своей корове вымя чище мою, чем ты свою рожу!

— Глянь, сама страхолюдина! Чтоб тебя разорвало на канаве, нечистая сила...

— Ну, разойдись, дрыном огрею обеих! — прикрикнул строгий мужской бас.

Бабы утихли. За плетнем звякнул подойник.

— Стой, не лягайся. Чтоб тебя...

Юлька задумалась. Сбросив у порога туфли, вошла в избу. По половикам разгуливал щеголеватый кот. У русской печки — эмалированные чугунки. В стакане — кры-

лышко для смазки сковородки. Пахло льняным маслом. Бабка напекла блинов.

Скоро она вернулась, усадила Юльку за стол, радушно стала потчевать:

— Кушай, дочка, не стесняйся.

— Ба, у меня колбаса одесская...

Окно было раскрыто, на подоконник заглядывал лопухий цветок. Бабка подкладывала хрустящие блины. Юлька, бессовестная, умяла их с молоком целую дюжину, рассказывая, что никогда не бывала в деревне, кроме пионерских лагерей.

Хозяйка, поправляя ладонью падающие из-под платя седые волосы, жамкала беззубым ртом колбаску, в свою очередь рассказывала про какую-то бабу Веру, что «дуже» плоха глазами:

— «Сведи меня, Гранюшка, на могилку в остатний раз». Сведу, как неведу... Робяты у ей захоронены на горке. Далеко видно отеть. Уж годов пятнадцать ходе туда. Дождик ли, снег... На моциклете оне разбились, с гулянки ехали. Токо вырастила. Ох-ох, грехи наши тяжкие...

Старуха стала разваживаться спать. Юльке — постель в горнице. Кровать с шарами. Рядом — сундук, скованный фигурным железом.

Утром Юльку разбудило туканье бабьих пятюк. В плите потрескивал огонь. С лавки мягко спрыгнул кот. Хозяйка вышла во двор.

— Кур-кур-кур...

На ее зов боевым криком откликнулся петух. Побежал, шаркая острыми шпорами по лопухам. Бабка бормотала:

— Бесстыдник ты, Григорий, опять в чужой огород лазил? Мало своих женок? Все вы, мужики, таки. Сам бы подумал, вода-то с одной речки: справа черпнешь, слева — все едино... Я вот подерусь, ишь моду взял, басурман!

Юлька выглянула в окно и засмеялась от радости летнего утра.

Накинула платье и заскакала к реке.

Над водой клубился туман. Засунув головы в ил, копошились утки. Тяжелое солнце лезло на гору. В камнях ворчала река.

Юлька громко всхлипнула от несущегося мимо счастья. Завороженная, долго стояла на берегу. С визгом и криком с горы ссыпались белобрысые ребятишки, стягивая на ходу рубахи, и стали нырять с пристани. Стриженный паренек ловил уклею. Его верный пес разлегся на досках.

Юлька тоже решила купаться. Солнце ослепительно жгло. Прибыл теплоходик, высадил стайку школьниц с учительницей, которая устало квохтала:

— Девочки, Лена, Наташа, ведите себя приличней. Что вы задрались?

Девчонки побежали наверх, мелькая загорелыми икрами.

Время летело незаметно. Юлька вернулась в дом; стоя на одной ноге, перекусила, тщательно причесалась у зеркала — концы волос закручивались в тугие пружины, — и помчалась за деревню. Сама не знала, куда топорится. По дороге встретила студентов, шедших с работы. Борис — с ними.

Она так обрадовалась ему, что подпрыгнула, как дурочка, глаза ее сияли.

— Ой, Боб, я ждала вчера, — выпалила она, пошла рядом.

Евдокимов кашлянул в кулак:

— Машина сломалась, поздно приехали. Ты где устроилась?

Она сказала.

— Вот и славно. Я беспокоился. . .

У столовой стояли мотоциклы. От баков остро пахло

горячим бензином. Механизаторы обедали. Из открытых окон слышались смех, стук посуды.

Борис ушел переодеваться. Юлька села на скамейку около общежития. Занавеска откинулась, из комнаты выглянул опухший от сна Баранов и весело крикнул:

— Заходите, барышня, пол я сегодня вымел!

Она помотала головой, разглядывая свои красные от загара ноги.

Евдокимов вышел в новой рубашке, с офицерским ремнем на поясе брюк. Лицо строгое.

— Пошли.

— Куда? — Она с готовностью встала.

Он сбегал в столовую, вынес полбуханки хлеба и стал спускаться по гнилым мосткам к реке, где стояла широкая лодка. Он столкнул ее на глубину.

— Прыгай!

Она сняла громоздкие туфли, забралась на корму. Он сел посередине, вставил весла в колышки на бортах и развернул лодку вниз по течению.

Поднимался ветер. Глухо шумел лес. Места, мимо которых они плыли, становились мрачнее. Деревья, с вывороченными корнями, лежали крест-накрест. Под берегом темнела полузатопленная баржа.

Лодка вошла в затон. Здесь была старая покинутая лесопилка. У воды, вверх колесами, валялась тележка для подтаскивания бревен к пилораме. Кругом — горы бурых опилок, корья.

— Что мы здесь будем делать? — надменно спросила Юлька. Она боялась, но делала вид, что ничего не боится.

Он ничего не сказал, направился к обрыву, к какой-то пещере. Выбросил оттуда жестяные банки, полиэтиленовый мешок, фанерки с намотанными на них шнурами.

— Тут у меня целый склад, подводная база... Разведи огонь и грибов набери, пока донки поставлю. — Он кинул спички. — Суп умеешь варить?

Она принесла щепок, развела огонь. Работая, часто оглядывалась на кусты. Борис ходил по воде, у его ног что-то бурно плескалось. Издали он был похож на играющего мальчишку.

За грибами не пришлось далеко и ходить: на завалах, как клапана на баяне, торчали опята. Набрала их, вычистила ножиком, что нашла в мешке с картошкой, принесла в банке воды, начала стряпню.

Пусть не думает, что она без рук. . .

Грибы закипели. Она сняла пену, высыпала в банку нарезанную картошку, сожалея, что нет головки лука, прислушивалась к шороху реки и задавала себе вопросы.

«Господи, мне никогда не было так хорошо. . . И сколько это будет продолжаться? С ума можно сойти, какой у него трогательный голос, руки с тонкими, как у девушки, пальцами. . . Работа опасная у него. . .»

Евдокимов вернулся, держа за жабры две чудные рыбины.

— Порядок.

Юлька сняла банку, поставила на бревно и следила, как он заворачивал рыбу в листья лопуха, разгребал жар и засыпал ее горячей золой. Потом достал из мешка две изношенные ложки, одну протянул:

— Чистая.

Они стали хлебать лесной суп с длинными, как лапша, грибами, разговаривая о пустяках. Что бы там ни было, а общая трапеза сближает. . .

Он засучил рукава, выложил щепочками готовую рыбу на лопух. Чешуя отвалилась, обнажив красноватое мясо. Осталось подсолить. Юлька ела сладкую рыбу и усиленно думала: зачем он завез ее в это дикое место, порыбачить можно было и у деревни. . . Тут что-то было не так. . .

У воды с жалобным писком бегали мелкие кулички.

Она пошла мыть банки, тщательно терла их песком.

Когда выпрямилась, увидела, что он смотрит на нее с нежной печалью, и растерялась.

— Что?

— Иди сюда, не бойся.

— Вот еще! Чего мне бояться?

Села на край бревна и одернула платье.

Он стрельнул окурком в береговую пену и опять внимательно посмотрел на нее. Она смутилась.

— Я выпачкалась?

— Вот здесь. — Он показал где.

Она вдруг почувствовала себя одинокой, беспомощной, не стала вытирать щеку. Сидела, вытянув вперед лицо.

— Знаешь, я ведь перед отъездом был в универмаге, — сказал он после некоторого молчания. — Ты была в каком-то транс... Мне показалось, что ты кого-то искала, волосы у тебя все время падали на глаза. Ты вот так делала. Я постоял и ушел, не хотел, чтобы ты подумала, что я... из-за денег...

— Ах, вот как! Ты в июне был? — догадалась она.

— Да. А что?

— Я маму похоронила, вот какие дела...

Юлька занавесила лицо волосами и стала пересыпать руками чистый песок. Тоненькие струйки текли между пальцами.

— Понятно. Тебе нелегко было. По себе знаю, я в детском доме вырос...

Он махнул рукой, встал и, сутулясь, пошел за кусты, оттуда крикнул:

— Я на дальний конец схожу, здесь не берет...

Костер загас. На большой высоте пролетел самолет с зажженными консольными огнями. Юлька убрала мешок и банки в пещеру и бродила по лесопилке.

Солнце уже катилось над лесом. Жерехи гоняли мальков по отмели, глуша их хвостами. Над головой пронеслась черная растрепанная птица. Юлька начала беспо-

коиться, вглядываясь в заросли, и закричала как полоумная:

— Эй!

Хрипкое эхо полетело по реке. Затрещали сухие сучья. Из-за поворота показался Евдокимов, держа на кукуане язей.

— Перед заходом начали брать. Ребятам обещал...

Юлька с обидой отвернулась, полезла в лодку.

Обратно плыли молча. На пятачке играла магнитофонная музыка. Лодка ткнулась в берег. Загремела цепь. Юлька спрыгнула, увязая каблуками в песке, пошла наверх. Боб нагнал ее, шел, не разговаривая.

Вечер был теплый. Лениво брехали собаки. Солнце зашло, стало темнеть. На небе прокалывались щемящие звезды.

Юлька смутно чувствовала всю нелепость этой поездки, своего присутствия здесь, с горечью думала: «Ему неинтересно со мной...»

Около сельсовета, освещая круги земли, горели сильные лампы. И было видно, что линию недавно сменили: столбы еще не успели потемнеть от непогоды.

Она остановилась под фонарем, взмахнула руками, будто пыталась взлететь.

— Нездоровится что-то, пойду...

Ее действительно познабливало: перегрелась на солнце.

— Посидели бы?

— Нет, пойду.

По мосткам послышался стук каблук. Мимо прошли те студентки, раскрашенные, как клоуны. Одна громко сказала:

— Боб, никак рыбку выудил золотую?

— Тощая больно. Подавишься, — комментировала вторая. — Пошли шейк танцевать.

Обе захихикали. Юлька прикусила губу.

— Что они к тебе пристают?

— Они ко всем пристают. Очень общительные. . .

— Иди, иди, вон они ждут.

— Брось, не обращай внимания.

Он взял ее за локоть. Она выдернула руку, отступила в тень.

— У меня голова раскалывается. Света белого не вижу. Так бы и легла на дорогу. — Она потрогала глаза.

Он нахохлился:

— Серьезно?

— Да. Иди, не надо провожать.

— Ну, как хочешь. . .

Он потоптался, тяжело вздохнул и пошел в темноту, тускло отсвечивая рыбой. Шаги затихли. Пыль, поднятая его сапожищами, долго оседала на траву.

«Дура, зачем я его отпугнула? Нехорошо получилось. . . Неужели ревную его?»

Она пошла, перебирая руками штaketник.

Старуха гоняла босой ногой прялку. Бобина тарахтела. В простенке ржаво тикали ходики. Юлька села к столу. Кот — блохастый и тяжелый — перебрался к ней на колени. От его живого тепла она успокоилась.

— Где была, что делала?

— На лесопилке рыбу ловили.

— Ох, тех-тех, каку даль. Вечерять будешь?

— Я сыта.

— Ну и ладно. . .

Старуха, поплевав на пальцы, потянула нить с гребня. Руки — сизые от перекрученных вен, сухожилий, сквозь пигментную кожу просвечивали косточки. Юлька невольно глянула на свои ноготки: маникюр кое-где облез, не забыть бы подправить. . .

Хозяйка моргала на свет, надавливая на педаль опухшей ногой, и кивала в такт щелканью бобины. Юлька ерзала на полированных сучках скамейки, пытаясь понять древнее ремесло: тянуть нить Ариадны. . .

Чтобы не казаться такой дикой, молчаливой, спросила:

— Аграфена Степановна, много у вас детей?

— Трои...

— Где они?

— Кто где. — Старуха стала перечислять: — Дочка замуж ушла в район за бухгалтера. Павел да Митька в Петрозаводске на строительстве работают. Охо-хо... — Старуха зевнула, перекрестила рот и продолжила: — Мой Родион, мужик-то, с Германии вернулся, настрогал мальцов-погодков. В пятьдесят втором простыл на пожне да и свалился, не встал более. Царствие ему небесное... Дела каки... Некогда и вопеть было. Прибегу с фермы, не ведаю, за что хвататься. Ор по лавкам. Мои соплюны по уши в наземе сидят, в голос ревут: пить, исть давай. Старшая Клавдия покусает их за пальцы, что ревут, они пуше... Налупщую ее как сидорову козу. Да что с восьмилетней спросу? Я в скотницах ходила. Почитай годов двадцать навозну куртку не снимывала. Жизнь пробегала так-то. Ох, спать пора, засиделась, девка... Кости ноют: у меня осложнение солей...

Старуха встала, заковыляла за занавеску. Тяжело скрипнула кровать.

— Свет-то загаси, пойдешь...

Юлька сбросила пригретшегося кота, щелкнула выключателем и пошла раздеваться. Дом потрескивал сухо. Под печкой тирликал лобзиком сверчок. Бабка масировала ноги, стонала, потом затихла.

Утром Юлька проснулась поздно. Солнце рвалось сквозь занавески. Орал петух, хлопая жестяными крыльями.

Она ополоснула лицо под рукомошкой, наспех поела пахучей колбасы с черствым сельповским хлебом.

— Братан-то твой ни свет ни заря прибег. Дорогу окурками закидал, — сообщила новость хозяйка, входя со двора. — Поешь сметанки. . .

— Не-а.

Юлька вылетела на крыльцо.

— Ты стоншь, а я сплю!

— Пойдем гулять, я выходной выпросил. Как голова?

— Ничего, прошла. — Юлька покраснела, вруша несчастная. Не поинтересовалась, куда и зачем идут, хоть и на лесопилку — не страшно. . .

В мастерских звонко стучали по железу. Кузнец раздувал переносной горн. Пламени было не видно.

На целине, заросшей поздними цветами, летали и прыгали бесчисленные насекомые. Им было раздолье: люди тут не ходили. Шмели обнимали цветки, как обнимаются влюбленные у Родена. Так казалось Юльке.

На строительстве кипела работа. Слышались бодрые голоса студентов, шарканье пилы, смачное шлепанье раствора. Командир отряда прибывал топором причелину. Он был потный, как гладиатор после боя: волосы растрепались, прилипли ко лбу. Увидев Евдокимова, крикнул сверху:

— Сачкуешь, сапер! Машину некому выгружать. . .

— В кои-то веки, дорогой, в кои-то веки. . . Твои послушники стены подпирают. Организуй. . .

— Ну их. — Командир опять стал высверкивать топором.

Позади стройки в открытой бетонной траншее рыкал трактор, уминая подвозимую с покосов траву. Едко пахло старым силосом. Две колхозницы в выгоревших платьях и резиновых сапогах стояли, опираясь на вилы.

— Боб, невеста твоя? — любопытствовала одна, в спущенной на глаза косынке.

— Разумеется, — строго ответил он.

Женщины засмеялись, провожая парочку оценивающими взглядами. Юлька вспыхнула, побежала впереди. Евдокимов забрел в клин с овсом и горохом, набрал стручков и догнал ее на повороте.

— Угощайся.

— Зачем ты смеешься надо мной? — спросила она.

— Разве ты может быть такое? — с достоинством ответил он и, странно улыбнувшись, дотронулся до ее гладко причесанной головы.

Чтобы скрыть смущение, Юлька наклонилась, сняла туфли. Было приятно идти босиком по мягкой пыли. Дорога поднималась на холм. Они шли и лущили горох, бросая шкурки под ноги. На склоне холма виднелись ходы, ячейки старых окопов, заросших бурьяном. Среди путаницы ржавой проволоки валялись ведра без днищ, диски культиватора. Пришлось надевать туфли.

Евдокимов придержал шаг, вытащил из кармана какой-то блестящий длинный предмет и дунул в него. Раздался мелодичный гнусавый звук.

— Губная гармошка? — удивилась она.

Он важно кивнул.

— Сыграть?

— Разве на такой расческе можно сыграть путное?

Он пожал плечами и заиграл. Юльке стало не по себе. Смотрела на него, идя сбоку, стараясь не волноваться. Глаза ее потемнели.

— У тебя здорово получается. Повтори.

Он повторил.

— Сыграй что-нибудь еще, — потребовала она, недоумевая.

— Что именно?

— «Почтовый дилижанс»! — выпалила она с вызовом и покраснела.

— Кажется, слышал. Напомни.

Она напела мотив. Голос ее слегка детонировал, дрожал.

Он кивнул и заиграл на низких тонах. Чтобы не разреваться, Юлька сунула ему под ребра сжатый кулак. Евдокимов оборвал игру и спросил:

— Ты любишь блюзы?

Она кивнула.

— У меня коллекция пластинок: Бесси Смит, Луи Армстронг, Ленгстон Хьюз...

— Вот как! — удивился он. — Никогда бы не подумал, что ты их знаешь.

— Да я прямо болею, когда слышу Армстронга. Я... Я мечтаю купить пианино, — забормотала она. — Моя знакомая продает «Шредер» розового дерева... Тембр чудесный. Я готова играть на нем хоть в подвале. Трогая руками клавиши, испытываю истинное наслаждение. Господи, я так мучаюсь...

— Какое совпадение! И я мечтаю о хорошем инструменте... Я два года посещал джаз-клуб при интернате. У нас руководитель был — зарезаться можно... Среди ночи подыми, готов был играть на чем угодно. У него была полная этажерка старых аранжировок...

Евдокимов вздохнул, потер гармошку об рукав.

— Что теперь?

— «Синенький скромный платочек».

Он ласково усмехнулся и зашагал по белой дороге, наигрывая грустный мотив.

Непонятный человек! Во всяком случае, она никогда не слышала, чтобы так проникновенно звучала эта мелодия.

Догнала Евдокимова, вцепилась ему в рукав.

— А ты мне нравишься! — воскликнула она.

— И ты мне, — просто ответил он.

Они спустились с холма. На вершине старой вербы, в большом гнезде, сидели аисты и смотрели на дорогу. Один аист потянулся, распустил крылья и, заскрипев красным клювом, стал выделывать голенастыми ногами малые батманы. Второй, освобождая ему место, подвиг-

нулся, потом, не выдержав, тоже подпрыгнул. Они легко и нежно плясали друг перед другом.

— Эй, гнездо проломите! — крикнул Евдокимов и счастливо засмеялся.

Аисты дружно взлетели, набрали высоту и стали парить в лазурном небе. Задрвав голову, Юлька долго наблюдала за ними, потом тихо сказала:

— Когда смотрю на их полет, всегда горло сжимает. У тебя так бывает?

— Ты не думай про это, — заметил Евдокимов. — Пошли, птица. . .

Дорога петляла среди канав, заросших сергибусом, конским щавелем. Листья их блестели. За изгородью темнел заброшенный сад. Когда-то здесь был хутор: из земли торчали остатки фундамента и был колодец. Борис заглянул внутрь.

— Вода близко, попьем.

Достал из паза консервную банку, оставленную неизвестным прохожим, нагнулся и зачерпнул воды с плавающими в ней мусоринами.

Она взяла протянутую банку, благоговейно отпила, передала ему.

— Холодная и вкусная. Смотри, сколько смороды! — и забралась в кусты. Оттуда с треском вылетели молодые скворцы. По ягодам ползали длинные осы. От земли несло прелым духом.

— Живот заболит, — засмеялся Евдокимов, глядя на ее юное покрасневшее лицо.

— Еще пясточку съем, — вздохнула Юлька.

Он выдернул жердь, подождал, пока она перелезет, задвинул жердь обратно.

Здесь стоял летний сарай с остатками сена. Внизу протекала река.

— Купаться будешь?

— А ты?

— Я сухопутная крыса, воды боюсь, — сказал Евдо-

кимов и упал на раскаленный песок. Из карманов брюк посыпались никелевые монетки. Юлька скинула платье, стояла, освещенная солнцем, тонкая, как весенняя лоза.

— У тебя лодыжки, как у богини! — крикнул он, разглядывая ее чистыми глазами.

— Ну тебя. Скажешь тоже...

Она кинулась в воду и поплыла, чуть подрабатывая ногами. Прохладные струи обтекали ее разгоряченное тело.

Течение было сильным. Сад скрылся из глаз. Она поплыла к берегу и вдруг ощутила безотчетный страх, увидев упавшее с обрыва длинное дерево. От напора воды ствол шатался. В ковше было полно пены. Она поняла, что ей не выбраться из бешеного свального течения. Настоящая ловушка!

Ничего не соображая, замолотила руками. Перед глазами мелькнули острые суки. Что-то резко полоснуло по ноге. Она вскрикнула, бросилась за поворот, где течение отпустило ее.

Икая, дрожа, как собака, выбралась на крутой спуск. По ноге струилась жаркая кровь. Голова кружилась.

Она заставила себя встать, поискала подорожник и, откусив зубами вытянутые нити, приклеила лист к ране; придерживая его рукой, захромала по коровьей тропке, чувствуя затылком чей-то тоскливый взгляд сверху. Посмотрела вверх: небо было тревожное.

Поднимался хлесткий ветер. Сосняк загудел. Ласточек носило над водой, как мусор. Они достигали берега и падали в траву. Фиолетовая грязная туча закрыла солнце.

Юлька разыскала платье, улетевшее в кусты, напятила его, кинулась к сараю. Сверкнула молния. Над головой трахнуло, будто лопнул стальной стакан. Казалось, молнии гнались за ней.

Дождь хлынул. В проеме сарая стоял Борис и невозмутимо глядел, как она стрекочет к нему.

— Боб, я здесь, а ты где-то ходишь! — суматошно вскрикнула она, вбегая под навес.

— Я здесь, никуда не уходил. Отжимайся, на тебе нитки нет сухой.

— Отвернись!

— Зачем?

— Прошу, — пискнула она.

Он стащил с себя сухую рубаху, кинул ей под ноги.

Кладая зубами, она сняла липкое платье, купальный лифчик, надела рубаху.

Какой-то невероятный ливень обрушился на землю. Река вздулась. Дождь был такой сильный, что над землей стоял пар, как над водопадом.

Евдокимов обернулся.

— Что у тебя с ногой?

— Я чуть не утону... — не договорив, она уткнулась ему в плечо.

Он ласково отстранил ее от себя, оторвал ленту от подола рубахи, начал делать перевязку.

— Здорово раскrojла... Да не трясись ты, стой смирно...

Ветер залетал в ворота, кругами ходил по стенам. Прячась от холода, они сели в жесткое сено, зарылись в него.

— Мне хорошо с тобой, — прошептала Юлька.

— Я знаю. Молчи.

— Ничего ты не знаешь, колун несчастный. Я... я некрасивая. Ты не приходил за деньгами... На работе смеялись: «Юлька, ты такая невезучая, парня напугала, за долгом не хочет прийти», — бормотала она сквозь слезы. — Меня никто не любил ни разу в жизни. Живу, как во льду. Всегда мерзну под взглядами. Мне все равно, что ты подумаешь обо мне...

— Кто сказал, что ты некрасивая?

Боб обнял ее, прижал к себе.

Потоки воды, прыгая по камням, неслись к реке. Сос-

ны гнулись. Одно дерево не выдержало порыва ветра, лопнуло и, брызгая белой щепой, рухнуло на землю. Балки сарая скрипели, наверху выло, шуршало, лилось. Боб и Юлька ничего не слышали: им было не до грозы. . .

Прошел час или два.

Буря утихла. Опять выглянуло солнце, сначала робко, потом в полную силу. Все яростно засверкало вокруг. Появились скворцы.

Юлька вывесила платье на жердь и спохватилась, что забыла на берегу туфли. Евдокимов ушел на поски.

Запахи земли парили над садом. На камне неподвижно стояла изящная чайка. Ее тонкие ножки были белые, будто в чулочках.

Борис подобрал туфли, вылил из них воду, поставил сушиться на бревно, сам сел рядом и, вытащив гармошку, заиграл что-то сложное, клоня голову набок. Чайка поднялась, летала над ним, истошно крича. Юлька не выдержала, бросила в нее камень, сдернула платье и убежала в сарай.

Натянув севшее платье, она вышла на солнце, взяла искалеченные туфли и пошла по изгрызенной ручьями дороге. Он все играл, не замечая ничего вокруг, потом побежал за ней.

На развилке стояли студенты с топорами и пилами, собираясь куда-то идти. Их командир, красный и злой, увидев Бориса, обрадованно крикнул:

— Заворачивай к нам!

— Что случилось?

— В Бродах перемышку смыло в овраге, пастбище залило. Телят надо эвакуировать на плотках. Начальство аврал объявило. Догоняй. Шагом марш!

Отряд двинулся по дороге. Проходя мимо Юльки, студенты засмеялись. Хороша, нечего сказать: ноги вымазаны в глине, платье забрызгано. . . Ей показалось, что и Евдокимов усмехнулся.

— Иди, — сказала она и заправила за уши волосы, как делала это всегда, когда нервничала. — Раз это нужно. . .

— Да, конечно, — растерянно пробормотал он.

— Иди, не сомневайся, — надменно повторила она.

Лицо ее вытянулось, стало отчужденным, несчастным. Она презирала себя. Он ничего не заметил, только вздохнул и побегала за отрядом.

В переполненной водой канаве она умылась. В верхушках деревьев летали дрозды. Из траншеи вылезла женщина с вилами, пошла по дороге. Юлька подняла голову и запела. У нее было слабенькое сопрано, но пела она старательно и так тоскливо, что женщина, шедшая впереди, обернулась, жалостливо посмотрела на нее.

— Ой, девка, кто так-то поет, счастья не увидит. . .

— И пусть, — ответила Юлька и снова заголосила забытую всеми песню о мальчишке, сидящем на холме, о дилижансе, который увозил его подружку. Кому какое дело, разве петь нельзя! У нее холодело в груди, голос дрожал.

Перед деревней она успокоилась. Хозяйка копалась на грядках, размытых ливнем.

— Бабушка, идите полежите, я поработаю, — предложила Юлька.

— На том свете еще належусь. Ох належусь, — засмеялась старуха. — Жениха куда дела?

— Кого?

— Красней не красней, не брат он тебе. Да. Утром не пошел тебя будить, я и смекнула. . . Сколь годов прожила: от какой коровы молоко отличу — от пегой или от рыжей. . . Ты говоришь. . . — Старуха опять засмеялась и погрозила пальцем. Руки у нее были черные от земли.

Юлька подобрала лопату, стала делать сток в канаву.

На другой день похолодало, с севера нагнало туч. Вкрадчиво шелестел дождь.

Вставать не хотелось. Евдокимов вчера не пришел, ждала его до полночи. Выходило так — нужно уезжать...

Она лежала, уткнувшись в подушку, и думала, как вернется в город, пойдет в универмаг, залитый светом, окунется в привычную суету. Поиски счастья бесполезны...

Скоро должен был прибыть теплоходик. Юлька заправила постель, покопалась в чемоданчике, где был спрятан стерильный пакет, и перевязала ногу. Рана подсохла. Будет что вспомнить. Теперь ей было все равно.

Накинула теплое шерстяное платье, собрала вещи. Выложила на столешницу пятерку за постой: хозяйка ушла проведать слепую Веру, еще вчера собиралась. Скоро не придет. Написала ей записку.

Снаружи бухнула дверь. Юлька выглянула: у порога стоял Борис и вытирал ладонью мокрое лицо.

— Чего? — спросила упавшим голосом.

Из его сбивчивых слов поняла, что пришла срочная телефонограмма: прибыл эскаватор.

— Уезжаю...

Он шагнул к ней, обнял за плечи. Она отстранилась.

— Езжай, мне какое дело? — холодно сказала она.

Он побледнел, кожа на скулах натянулась до блеска.

— Не понимаю...

Юлька уставилась в пол, чувствуя, что сказала неправду, выдавила из себя:

— Телята живы?

— Ага, до часу паром мастерили. — Он звонко чихнул. — Простыл немного... Проводи.

У Юльки замерло сердце. Двигаясь, как во сне, сняла с плиты пересохшие туфли, надела берет, плащ, вынесла чемодан. Евдокимов взял его.

— Ты собралась ехать?

— Что делать? — уклончиво ответила она.

Он вышел, остановился, поджидая, пока она запрет дверь на щеколду. У крыльца, опустив мокрый хвост, стоял петух. Куры сидели в загородке.

— Бабка его Григорием зовет, — зачем-то сказала Юлька, шмыгнула носиком и протянула: — Ну вот. . . Пароход прозеваю. Идем.

На реке стояла лодка. Груз был накрыт брезентом. На корме сидели Баранов и тощий мужик с жидкими, как у якута, усами. Оба были в штормовках, а сверху — накрылись пленкой.

— Наш лучший взрывник Коля Дмитриев и Леша, — сказал Евдокимов, будто это было важно сейчас.

Баранов соскочил в воду, стал шарить под брезентом рукой.

— Водку взяли. Околеем за дорогу. . .

— Глубже щупай. Особенно не нажимай. Она теперь из вологодского сучка делается. Выпьешь, потом неделю известку из глаз вытираешь. . . — рассмеялся мужик с усами.

Перебрасываясь грубыми шутками, они смотрели в сторону. С береговых елей скатывалась вода. Река была мутная.

Юлька стояла на камне, поправляя слипшиеся от сырости волосы. Евдокимов смотрел на нее, смущенно улыбаясь.

— Знаешь, я придумал. . .

— Что?

— Насчет пианино. . . Этот «Шредер» дорого стоит?

Она сказала. Он задумался.

— Попроше что-нибудь выбери.

— Нет, я договорилась, частями буду отдавать.

— Тогда обожди. Приеду, посмотрю его сам, хорошо?

— Нет, — упрямо повторила она. — Эта женщина не будет ждать. . .

— Скоро вы? — нетерпеливо крикнул Баранов.

— Сейчас.

Из тучи неожиданно блеснуло солнце, и дождь перестал. Евдокимов вытащил из кармана гармошку, медленно заиграл «Платочек». У Юльки защипало глаза.

— Погоди, я сбациаю! — подскочил взрывник и на широком сиденье стал отбивать чечетку; растопырив руки, с оттяжкой хлопал ими по голенищам. Делал он это с бесшабашной удалью, тонко вскрикивал, приседал, лицо одеревенело, усы топорщились.

Вальс оборвался на высокой ноте. Взрывник пробормотал:

— Сыграй еще.

— Что играть?

— Все равно, — сказала Юлька. Ей хотелось, чтобы расставание было вечно. Но так не бывает.

Он легко заиграл что-то быстрое, как стремительная река, потом сбавил темп, поймал мягкую незнакомую мелодию и с полминуты держал ее, как редкостную птицу. Взрывник побледнел и впился руками в борта лодки.

— Это что? — спросила Юлька, когда Борис кончил играть.

— Не знаю... Сейчас пришло в голову, — ответил он спокойно. — Хотел сыграть об аистах, о девчонке в диком саду. Ничего не получилось...

Он вздохнул. Юлька зарделась.

— Еще как получилось!

Баранов начал стаскивать лодку. Евдокимов обнял Юльку. От его одежды несло сырыми снастями и рыбой.

Он что-то сказал и крепко поцеловал ее в губы. Она услышала удаляющийся звук его шагов по плотному песку. Брякнули весла. Лодка пошла, и неотвратимо. Небо на горизонте светлело. Лодка скрылась за поворотом. Тогда она подняла чемодан и направилась к пристани — там было пустынно, — села на бухту каната и бессмысленно уставилась в желтую воду.

Скоро подвалил теплоходик. Она шагнула на просохшую местами палубу. Суденышко тотчас отошло, дымя трубой, как походная кухня. Зазябший матросик оторвал длинный билет и умчался греться в машинное отделение.

Она спустилась вниз. В салоне сидела женщина с двумя вертявыми девочками, жевавшими печенье. Все трое уставились на нее. Она поежилась, устроилась на сиденье, сунула руку в карман и нащупала пальцами какой-то сверточек, перетянутый резинкой, и похолодела.

«Зачем он это сделал? Когда успел положить?» — пронеслось в голове.

Отвинтив задрайку, Юлька открыла тяжелый иллюминатор, выставила над водой кулак с деньгами и прошептала:

— Так будет лучше.

Но вдруг отдернула руку.

Какой-то всхлип вырвался из ее груди. Девчонки замерли, раскрыв рты с недожеванным печеньем. Юлька закрыла иллюминатор, завинтила винт, зеленый от окиси, и стала смотреть сквозь вздрагивающую занавеску. По реке плыли тупые короткие бревна.

Патруль



Ивакин вернулся с работы раньше обычного. Жена ничего не спросила, налила в тарелку суп с «колючками». Сели обедать.

За шесть часов работы в подвале — меляли канализацию в гальванике — он сильно устал, до одури наглотался сварочного дыма, кислотных испарений.

Суп был красный от моркови. Ивакин густо намазал горчицей ломоть серой булки и стал хлебать, ощущая во рту привкус меди.

Жена села напротив, положив полные руки на край стола. Поинтересовалась:

— Что такой хмурый?

— Морковки набухала, есть нельзя. . .

— Не выдумывай, — обиделась жена и поджала губы.

Ивакин отодвинул тарелку — половины не съел — и вяло махнул рукой. Последнее время он стал раздражительным, придирался к каждому пустяку. Вот и сегодня с самого утра был не в духе: на работе из рук все валилось, кричал на сварщика и на помощника, поспорил с молодым неопытным начальником, наговорил ему дерзостей.

Жена стала накладывать голубцы. Морщась от едкой горчицы, он подумал, что и приправа пошла не та: одна горечь.

— В баню собери, — приказал он.

Она терпеливо сложила белье, мочалку из морской травы, веник в старый портфель сына.

После еды Ивакин немного подобрел и виновато буркнул:

— Ты это. . . бананов Ляльке купи. В «чулке» дают. . .

Оделся и минуты две возился с ботинками: не нагнуть было, намаялся в чертовом подвале. Лицо покраснело, в глазах плыли мошки. Совсем здоровье покачнулось. Вспомнил бывшего соседа Чугунова — тот шнурки не мог завязать без посторонней помощи: тучный больно был. А теперь и самому впору просить жену, хотя он и худой, как яловая блоха. . .

Еле управился.

— Пива холодного не пей, горло застудишь, — напутствовала жена, подавая портфель. Ивакин хлопнул дверью.

Мороз к вечеру жал немилосердно. Ветер дул, как в трубу. Река за эту зиму так и не успела схватиться. Отдельные льдины с шугой плыли по течению, таща за собой

сгустки мазута, будто очищали реку. На той стороне белел монастырь, где размещался «Гидропроект».

Идти было недалеко. В той бане у Ивакина были знакомые гардеробщики: Леха Шкворень и Степан, по прозвищу Артиллерист, у которых имелось бутылочное пиво для постоянных клиентов.

Ивакин шел неторопко, разглядывая дома и людей.

Женщина, уткнув покрасневший нос в чернобурку, несла две сумки с продуктами. Впереди бежала девица в лиловом пальто, на голове — шапка из песка. Обернулась. Глаз не видать, личико — с кулачок.

Солнце стояло еще высоконько, грело между домами. Голуби подлетывали из-под ног. С грохотом обогнал трамвай. Заднее колесо стучало: лысина на бандаже.

Ивакин и на это обратил внимание, рассуждая про себя:

«Пешки в депо. Инвалида выпустили на линию... Вот и молодой начальник такой: нравятся ему лиходеи, что шустрят. А не понимает — спешная работа боком выходит. Через неделю с участков бегут: „Сломалось!“» Сам Ивакин работал на совесть: сгоны поставит на лен и сурик, резьбу прорежет подлиннее, затянет — годами труба стоит, пока не сгниет... А Маковский неопрессованные задвижки ставит на линию и зубы скалит: «Сделал, товарищ начальник!»

Баня была старая, с отставшей от постоянной сырости штукатуркой по фасаду. Окна — с рифлеными стеклами. На первом этаже были мужские классы, наверху — женские, по давней традиции, чтобы шантрапа не заглядывала. Когда эту баню строили, еще таких стекол не было: краской замазывали. И буфет тогда был с мраморными столиками. Выйдешь из класса — пиво подают с подсоленными сухариками или горохом. Поговоришь с людьми. Никто не гнал в три шеи... Теперь вместо буфета — киоск. Шампуни, лекарства, — на кой ляд?

На входе народ натаскал снега. В вестибюле пол посыпан опилками. На лестнице стояла очередь в женское отделение.

Кассирша Валя сидела на высоком табурете и от скуки наводила марафет.

— Из банщиков кто дежурит? — поинтересовался Ивакин, беря билет.

— Новенький.

— Что так?

— Степан Павлович помер. Вчера панихида была...

— Да ну? Я же видел его в ту пятницу. Не болел вроде.

— Кровь из ушей полилась ночью. Дочка говорила, — вздохнула кассирша.

— Ага, — ничего не нашелся сказать Ивакин.

Это известие сильно расстроило его. Занял очередь за мужчиной в лоснящемся пальто и бобровой шапке. Лицо неприветливое, в книгу уткнулся. Такие никогда не разговаривают, считают ниже своего ума человеку слово сказать. А ведь в очереди и в бане все равны...

Ивакин вздохнул. На лестнице гудели бабы, языки распустили, чтобы не терять даром времени. Бобер покосился из-под очков и поставил чемоданчик на колени. Стоявший впереди прапорщик уже вошел в дверь. Осталось ждать минут десять.

Из отделения вывалилось сразу трое: железнодорожник в шинели со звездами на рукавах, распаренный толстяк и еще один тип — потоньше.

— Следующий!

В предбаннике пахло сырой известкой, мочалой, чистым бельем. Хлопала разбухшая дверь.

Банщик, действительно, был незнакомый: гунявый и лысина на темени. Хмуро принял пальто, бросил на стойку пластмассовый номер.

Пива у него, конечно, не завелось, по глазам видно, что пусто под прилавком...

Ивакин стал раздеваться на диване, поглядывая в сторону бобра, который в голом виде пошел к лысому сдавать бумажник. Значит, сумму носит с собой, не то что некоторые, у коих сроду больше полтины в кармане не бывает, разве один день после получки. . .

Без одежды понять человека трудно. В бане чины не покажешь. И это худо. Всякий тебя может обляять или пихнуть горячей шайкой. Тут уж бобровую шапку не предъявишь. . .

С такими мыслями Ивакин вошел в мыльную, ошпарил два таза. На мраморных лавках шевелились люди. В парной было двое: старичок и тот, хитер-бобер. Дышали наверху открытыми ртами.

Ивакин набрал в ковш с деревянной ручкой воды и плеснул в каменку. В стену шибанула струя пара. Камни были накалены, — видно, истопник недавно топил парную.

С полка закричали:

— С ума спятил? Уши обварил. . .

— Ничего, пар костей не ломит, — усмехнулся Ивакин и полез на скользкий полок хлестаться. Сначала мелко прошелся венником, чтобы разогнать кровь. Потом — с отяжкой по ногам и спине.

Пару и на самом деле было многовато. Тех двоих сдуло на три ступени ниже. Охали, но долго не выдержали и там, дезертировали в мыльную. Пахло прогнившими досками, весенней березой, угаром. Тело наливалось малиновым зноем. Остудил венник в шайке и замолотил по вытянутой ноге с длинными шрамами на ляжке. Кожа не чувствовала ударов венника. Потом стала отходить, закололо. Эту ногу Ивакину хотели оттяпать в полевом госпитале: множественные осколочные ранения, но он не дал. В тыловом — тоже хотели отхватить. Нашелся один молодой капитан, который взялся лечить. Пять операций сделал, а своего добился. Правда, оскол-

ки кости выходили наружу несколько лет. Теперь вроде ничего, заросло. Только тянет в паху малость...

Голову схватило обручем, но Ивакин не торопился, работал веником добросовестно. Пот ручьем побежал по спине. Живот запал. Кровь стучала в висках.

Он вел себя, как грешник в аду, благо никто не видел: корчился, задира л ноги, кряхтел. Надо было кончать.

Отдуваясь, сполз с полка и, разъезжаясь кривыми ногами по бетонному полу, пошел к двери. И веник прихватил: еще раз в баню сходить пригодится.

В мыльной было прохладно. Вымыл скамейку и, поставив тазы с горячей водой по обе стороны, сам сел в середку.

Напротив мылись отец с сынишкой лет четырех. Мальчишка пускал струю и заработал по затылку.

— Вон дядя смотрит...

Ивакин засмеялся:

— Детям можно. Я, бывало, все избяные углы подую с ребятишками на спор: кто выше... Хе-хе.

— Думайте, что говорите, — недовольно пробурчал сосед, укладывая озорника попой вверх на свои колени. Мальчишка радостно дрыгал ногами.

Ивакин расслабленно мылся и думал про сына, который залетел высоко: руководит отделом на головном авиационном предприятии. Заважничал, не подойти ни с какого боку: барина играет... «Ты, батя, извини, при Ляльке язык не распускай...» А чего отцу указывать? На грех и замдиректора ругнет... Или вот еще: отцов костюм ему не понравился, — мол, как босяк вырядился. Ивакин, не долго думая, прижал: «По одежке только холоуи встречают». Сын покраснел, ушел курить на лестницу. А невестка до сих пор не разговаривает. Смех один...

Лицо Ивакина было неподвижно, будто в немом раз-

думье сидел апостол. Надо было закругляться. Вылил из шаек воду и пошел скатываться под душ.

В раздевалке долго обсыхал. Хотелось пить. Подсказать надо лысому, чтобы закупил на неделе ящика два «Жигулевского». Газету читает, будто не его дело смотреть за вещами. . .

На потолочных швеллерах висели крупные капли, на кафеле — натеки мела со стен. Баня давно требовала ремонта.

Он стал одеваться, белье плохо налезало на сырое тело.

Того бобра уже не было, на его месте раздевался студент с жидкой бородкой.

Ивакин подал номерок, банщик выкинул пальтукан на прилавок.

На лестнице по-прежнему галдели бабы. Автомат с горевшей табличкой «Лимонный сироп» постукивал компрессором. Но стакана не было — наверное, ханыги увели. . . Будь оно неладно.

На улице ветер гнал прохожих. Тротуар был посыпан крупной солью, лед разъело в дыры. От едкого рассола на носках ботинок образовались белые полосы. Ивакин обходил колдобины: того и гляди нос расквасишь. В часовой мастерской ртутно мерцала лампа дневного света. Солнце уже спряталось за домами. Из гастронома несли бананы.

Ивакин заглянул в витрину — не стоит ли жена. Окно потное — не разглядел.

С реки дул ветер еще злее, напористее. На пустынной набережной толкались трое парней — девчонка с ними. Послышался ее отчаянный визг:

— Психи ненормальные! Скоты. . .

Всхлипывая на ходу, побежала. Один из парней догнал ее и сунул ей ком снега в лицо. Девчонка споткнулась, бросилась через дорогу.

Компания затопала ногами, засвистела:

— Ату ее!

Шедшая впереди Ивакина женщина остановилась, повернула обратно:

— Подержите портфель, я их сейчас успокою, — хмуро сказал Ивакин.

— Нет-нет, — напугалась женщина. — Не ходите туда, еще убьют. Я милицию вызову. . . — И поспешно свернула в проулок.

Далеко у светофора стояли машины. Парни продолжали гоготать:

— Это Люська Жижиха из общаги. К участковому побежала.

— Пусть попробует. Мы ей такое устроим. Гы-ы. . .

Ивакин бросил портфель в кусты и на всякий случай расстегнул пуговицы пальто. Не хотелось драться с этими мерзавцами. Голос его загремел по ветру:

— Марш отсюда, свистуны!

— Чего? Хиляй, дед, пока тебе все пломбы не выбили. . .

Тот, что разбил девчонке лицо, вынул руку из кармана. На пальце блеснул массивный перстень.

— Я повторять не люблю, — мрачней, сказал Ивакин. На его скулах вздулись желваки. Но он сдерживал себя — боялся своего гнева, знал, что уложит всех троих, они не пикнут. Он три года был полковым разведчиком и хорошо помнил те штуки, которым учил их лысый майор Балан.

Двое в лисьих шапках зашли с боков и выжидающе смотрели на третьего, который стоял и кривлялся, цедя сквозь зубы:

— Дедуся, я сказал: хиляй отсюда. А то я тебя так приласкаю, что сам развалишься.

Лицо у него было дерзкое, с какими-то порочными морщинами под глазами.

Ивакин посмотрел на темную реку, где шел бонный катер, лавируя между льдинами, и дурашливо забор-мотал:

— Нихт шиссен. Вода холодная. И вы там будете плавать. Ферштейн?

— Чего? — Парень с печаткой расхохотался.

Они ничего не поняли. Вожак взмахнул руками и грохнулся об лед. Звук был такой, будто рухнула на всем скаку лошадь. В переулке послышался топот подкованных сапог. Ивакин крутанулся и заорал:

— Я вас!

Парни посыпались друг на друга, хватая свалившиеся шапки, побежали на четвереньках, как выскакивают из-под катящегося вагона.

— Валим, Зосян, он сумасшедший!

Они подхватили упавшего дружка и затрусил к саду, ломясь через кусты.

Ивакин сгрел с парапета кусок заледеневшего снега и стал его есть. Во рту пересохло.

Какой-то человек приблизился и заботливо сказал:

— Так недолго и простудиться, застегнитесь. Нам женщина встретила, говорит, девчонку побили?

Ивакин подслеповато прищурился, разглядывая подошедших. Это был военный патруль.

— Спасибо, что выручили.

— Не за что, батя, — ответил курсант с лычками сержанта.

Старшим был офицер в длинной шинели. От ветра полы шинели шелкали по его начищенным сапогам. Лица у всех троих были румяные, деревенские.

— Чуть дров не наломал. Вовремя они драпанули, — улыбнулся Ивакин, застегивая пальто. — Сопляки. . . Не хотелось их калечить. . .

— Где вам, в вашем возрасте, хм. Чем это вы их напугали? — недоверчиво спросил офицер и усмехнулся.

— Я бы им показал кузькину мать, да пожалел. . .

Патрульные засмеялись.

— Ну ты даешь, батя. . .

— Не верите? — Ивакин тоже развеселился и расправил плечи. — Дайте вашу руку.

— Зачем?

— Покажу, как это делается. . .

— Хоть две.

— Не обижайтесь, если будет больно, — предупредил Ивакин и с неожиданной силой стиснул протянутую руку, потянул ее, поворачивая себе под мышку. Патрульный офицер охнул, раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, хрипло выдавил:

— Отпустите. Вы что, с ума сошли. . .

Ивакин отпустил.

— Вот видите. . . Не совсем приятно. Это называется «нудова защелка». . . Термин такой у поисковиков. У меня прозвище было: Массажист. Майор Балан меня всегда последним выпускал, когда разведка в переплет попала. . .

— Шутки у вас. Рука будто в станок попала. К черту. — Офицер потряс слипшимися пальцами. — Прямо не верится, на что вы способны. Значит, воевали?

Он снова подул на пальцы.

Ивакин кивнул и поднял воротник пальто. Было очень холодно. Уже смеркалось.

— Старое не забывается. Не обижайтесь, если переборщил. Будьте здоровы, ребятки.

Офицер и курсанты вытянулись, щелкнули каблуками и отдали честь.

Он направился к кустам, вытащил заледеневший портфель, слыша голоса удалявшихся патрульных:

— А, черт! У меня глаза на лоб вылезли. . .

— Кадр. . .

Ивакин зашагал к дому. В прихожей стащил тяжелое пальто, повесил его на крюк, забросил шапку на вешалку. Вешалка была удобная, широкая, как вагонная полка.

За стенкой бормотал телевизор. Жена крикнула из комнаты:

— Как попарился?

— Нормално, — почему-то с акцентом ответил Ивакин и отворил дверь на кухню, зажег свет. На столе в вазе лежали кривые бананы для внучки. На стенах висели начищенные ковшки, желтые доски. Чистота и порядок.

Он долго ходил по кухне, стучал дверцами шкафчика, делая себе питье из толченой клюквы, и ворчал сам на себя, на приближающуюся старость. Хорохорился и хитро поглядывал в окно. Настроение немного улучшилось.

На холодной реке



Все ясно, — подумал учитель. — Не надо было ей так долго лгать и мучить меня...»

Он смял письмо и растерянно потоптался. Скворцы свистели над его головой. С горы были видны темные отсыревшие дома, белая школа. Около магазина стоял автобус с расщепленными дверцами.

Учитель внимательно проследил, как почтальон переходил желтый ручей по бревну. Блестела кора голых прутьев. Весна гнала соки к мертвым с виду деревьям.

Он машинально взял чистую лопату и направился вдоль забора. Забор был неплотный. Солнце сквозь щели стегало по глазам. Земля уже хорошо оттаяла, но там, где лежал мусор, долго хранился снег. А ночью еще прихватывали заморозки.

Он стал ковыряться в прелых ледяных щепках. Вытаскивал червяков изо льда и клал их в коробку. В коробке они начинали шевелиться.

«Жизнь всегда заводится в сырости, — подумал он, — и в тепле. . .»

Он копал с деревянным упорством, и ему стало жарко под фуфайкой. Отжал нос грязной рукой, вытащил мятые сигареты и закурил.

Кашель ударил в спину.

«Ничего, — подумал учитель. — Это я простыл вчера».

Он взял лопату за черенок, забросил далеко в кусты и вернулся домой. Во дворе отыскал шестиметровое удилище. Из сарая вылез пес с кривыми лапами, с толстым, как у кенгуру, хвостом. Пса звали Ирод.

— Не хватало, чтобы ты увязался. Сиди дома, — приказал учитель и двинулся вперед. Пес побежал за ним, и он обругал его, обернувшись. Пес отстал.

Дорога еще не просохла, грязь была крутая, как пасхальное тесто. Но он не чувствовал тяжести земли, и в груди было холодно.

Собака нагнала его, когда он прошел километра три. Он снова выругался. По интонации пес понял, что человек разрешил, и побежал рядом, касаясь его ноги.

Они вышли на тропу и увидели озеро. Синий лед отступил от берега. По льду гуляли грачи, клевали вытаявшую пищу. Учитель с собакой пошли по берегу, вдавливая в песок сухой выброшенный камыш. Пес был старый и бежал тяжело, хлопая лапами. От солнечной ряби по дну озера ходили золотые полоски.

Они обогнули совхозную конюшню. На солнечной стороне грелись лошади. У водокачки стоял трактор с красными выпачканными колесами.

Они опять углубились в лес, чтобы выйти к реке. Дорога пролежала через длинное болото, грязь здесь была жидкая. Пес преодолевал глубокие места прыжками, но один раз провалился.

— Говорил, не ходи, — сказал учитель. — Я же лучше знал, какая дорога. Упрямый как черт. . .

Он кольнул пса концом удилища. Пес прижал уши.

«Батый не дошел до Новгорода ста верст, — подумал учитель. — Где-то в этих местах... Завтра скажу ребятам про это».

Холод в груди не проходил. Ноги разъезжались на гати. И он подумал: «Как там, у Карамзина? «Испуганный лесами и болотами, Батый повернул к Козельску... Татары семь недель стояли под городом, не могли взять. Жители резались с ними ножами и положили четыре тысячи, сами легли на их трупы...» Учитель вздохнул.

«Резаться ножами тяжело. Вот это я им скажу...»

Ирод выбежал к реке и на кого-то лаял.

Река вытекала из озера. Она была уже чистая ото льда. В нее впадали два лесных ручья, коричневых от торфа.

За большим валуном у костра сидели люди. На огне лежал сырой пень. Учитель понял, что это рыбаки из города, одного он узнал. Это был Король — украшение реки. Никто его иначе не звал, и он любил это прозвище. Рыбу ловить он умел.

Ирод перестал лаять.

— Привет, — сказал учитель и сбросил мешок и удочку. — Ничего нет?

— Ни синь пороху, — ответил Король.

— Язь должен идти.

— Должен... Вчера вот он вытащил одного. Идут матери-одиночки, которым приспичило. Мы его уже съели. Правда, он с лодки ловил, меня не взял. — Король презрительно усмехнулся.

Человек в меховой куртке покраснел.

Ирод подбирал разбросанные рыбы кости. Учитель посмотрел на человека, имевшего вполне интеллигентный вид.

Гремя брезентовым плащом, Король встал.

— Пойду проверю еще раз. Погода портится. Ни феинной матери сегодня не будет.

Выругавшись, он ушел к реке.

— Ужасно грубый человек, — сказал мужчина в меховой куртке.

— Он — Король, — ответил учитель. — Лучше его никто не может ловить рыбу. . .

— Все равно, очень грубый человек. Я убедился.

— Это так кажется. Он добрее нас с вами. Зря вы пожалели для него лодку.

— Давайте не будем ссориться, — сказал человек и протянул руку: — Смирягин, доцент.

Учитель разозлился:

— Иванов, гинеколог.

Доцент обиделся. Губы у него были как у тирана.

— Хорошо, — сказал учитель. — Не обижайтесь. У меня сегодня нервы без изоляции. . .

— Я не обижаюсь. Бывает. . . В моей лодке можно вдвоем. Хотите? Я его не взял: от него спиртным несло. Тем более, он без руки. Резиновая лодка неустойчивая. . .

— Ничего бы он вам не сделал.

— Пойдете в лодку?

— Погода портится, лучше с берега. И вам не советую. — Учитель вытащил сигареты: — Закуривайте.

Доцент жадно посмотрел на табак и покачал головой:

— Нет, у меня инфаркт был. Нечем расплачиваться за табак.

— Хотите сказать, что здоровье — золотой запас?

— Примерно. Иногда мы забываем, что за все нужно расплачиваться. . .

Король бродил по реке.

Учитель размотал удочку и спустился к воде. Места он тут знал.

Поднимался скользкий холодный ветер. Учитель насадил на крючки простуженных червяков. Течение было сильное. Поплавок кружило в водоворотах.

Доцент подкачал баллоны и оттолкнулся от берега. Лодку сразу понесло. Он бросил якорь, веревка натянулась. Человек посреди голой реки и невидимо набухшего леса казался ничтожеством.

«Это, наверное, в городе люди чувствуют себя значительными, — подумал учитель. — Ни черта они не могут. Только кичатся разумом. Зерна не могут выдумать, чтоб проросло. . .»

Король сверкал на солнце длинной удочкой, упирая ее в живот. Учитель знал, что рука у него отстрелена пулей из парабеллума. Но рыбу он ловил как бог.

— У вас есть что-нибудь? — крикнул доцент, подруливая ближе.

— Думаете, здесь манна сыплется?

— Там зацепов много. Ветер сатанеет. Я совсем окончел. . .

— Снег где-то выпал.

— У вас какие крючки?

— Обыкновенные.

— У меня — японские, ни одного схода. На выставке приобрел. Хотите подарю?

— Не нужны мне ваши крючки. Помолчите.

— Опять обиделись, — что я такого сказал? — Доцент нахохлился.

— Здешняя рыба не любит человеческого голоса.

— У меня, кажется, что-то есть. . .

— Ну и тяните на здоровье. Слабину не давайте. Не дергайте леску.

— Мертво сидит. Опять, как вчера, грамм шестьсот. — Доцент всхлипнул.

Учитель вытащил удочку и пошел вниз, кашляя на всю реку.

Ветер усилился. По небу ползли холодные облака. Воздух свистел в нагих березах и в леске удочки. Ниже берег был болотистый и плоский. От порывов ветра на

поверхности реки появились гримасы. В заводях старый камыш, срезанный льдом, торчал из воды.

«Ветер всю музыку испортит», — подумал учитель и сглотнул слюну. Он не ел со вчерашнего, только теперь почувствовал сильный голод и старался не думать о письме. Хлопая лапами по коричневой воде, бежал Ирод.

Доцент боролся с какой-то рыбой. Ирод стукнул хвостом по голенищу сапога хозяина и ткнулся носом в его руку. Нос был божественно холодный.

— Убери эту шушеру, зарой. Ты же собака, а не кошка, чтобы ловить крыс. Сколько раз тебе говорить?

Пес обиженно отошел, зарыл крысу под камень.

Учитель не смотрел на него. Поплавок как ошпаренный выпрыгнул из воды и лег на живот. Учитель подтянул к ногам белесую рыбу, отцепил ее и бросил в яму, полную воды.

Солнце зашло за быстрые тучи. Холодная река стала еще пронзительней. За бугром Король делал артикулы удочкой.

Пошел язь и снег.

Снег хлестал по воде. Рыба ярилась, безумно вешалась на крючок. Ветер качал деревья, пьяно хватаясь за ветви. Иногда мертвый сук хрустел в переломе и, тихо стуча о нижние ветки, падал вниз. Деревья корчились под корой от холодного ветра.

Учитель сгибался от кашля и таскал рыбу. Яма уже была полна рыбой.

Доцент бледнел на прыгающей лодке, пытаясь отцепить якорь. Через резиновые борта плескала вода.

Учитель крикнул:

— Слушайте! Отрежьте якорь, а то вас опрокинет...

Доцент помотал головой, что-то крикнул, но ветер отнес слова.

На озере ломало лед. Большая льдина стремительно вошла в реку.

— Режьте, черт вас возьми! — крикнул учитель, но было поздно.

Льдина зацепила краем лодку. Она встала дыбом, блеснула днищем. Доцент слабо вскрикнул. Лед, не дрогнув, прошел вниз.

— А, дьявол! — выругался учитель, бросил удочку. — Встаньте на ноги, здесь мелко. Идите к берегу.

— Мне не достать.

— Врете, там мелко. Идите, а то вас действительно утащит. Лодку не отпускайте. Никто за ней не полезет. Дно есть?

— Есть... Бессердечный вы человек...

— Ничего, вылезете. Вам полезно.

Учитель зашел в бурлящую реку, помог вытащить распоротую лодку. Якорь пришлось отрезать. Веревка была длинная.

— Видно, за корягу зацепился, — сказал учитель.

— Я простужусь...

— Потерпите, сейчас костер разведем.

Подошел Король и спросил, в чем дело.

— Я чуть не утонул, — пожаловался доцент. — Он видел и не подумал помочь. Хорошо, там мелко, метра полтора...

— Я знал, что там мелко, — сказал учитель.

— Ни черта вы не знали. Такая река, несет...

— Вы прямо умница. Все правильно, я боялся простудиться, утонуть вместе с вами... Идите к костру, раздвайтесь.

Они направились к стоянке. Пень еще тлел. Учитель сходил в голый набухший лес и принес сучья. Король был мастер на костры. Постановвая, доцент стягивал с себя одежду.

— Уберите собаку, — сказал он капризно. — Мокрая, лезет.

— Она из-за ваших удочек вымокла. Вы же их бросили, — сказал учитель. — Даже спасибо не сказали...

— Я мог сам утонуть. Вы и пальцем не пошевелили.

— Вас предупреждали, погода портилась. Какого черта якорь жалели?

— Советы давать легче всего.

— Все ясно, — сказал Король.

Снег валил густой завесой, выбелил землю, только река оставалась черной. С рекой ему было не справиться.

На озере колыхался лед. Отдельные льдины река отсасывала в себя.

— Вот фуфайка, — сказал учитель. — Повезло, штанов у меня двое.

— До совхоза восемь километров, надо самим выкручиваться, — сказал Король.

Доцент дрожал, как болонка на холодном ветру.

— Вы тоже замерзнете, — сказал он негнушимися губами.

— Ничего, ножами тяжелее было резаться.

— Что вы сказали?

— Сказал, что буду носить дрова. Костер нужен большой.

Оставляя черные следы, учитель пошел в гудящий лес в сопровождении Ирода. Король возился с огнем. Костер вырастал в высоту.

— Заговаривается, — сказал доцент многозначительно.

— У него хронический плеврит, — ответил Король. — Он вам телогрейку уступил. Моя-то вам не по плечу. Вы в два раза больше меня. И вот что я скажу, приятель. Это все равно, что материнское молоко хаять...

— Я не знал, — сказал доцент. — Я бы не взял.

— Взяли, куда бы делись.

Учитель вернулся с вязанкой хвороста. Огонь уже плавил вокруг слабый снег.

— У меня есть чуточку спирта, — сказал Король, облизываясь. Он вытащил с живота флягу и протянул учи-

телю: — Пейте, на вас лица нет. Не бойтесь, разбавлен до кондиции. . .

— Хорошо, — сказал учитель и сделал глоток, потом передал фляжку потерпевшему.

— Не пью, — сказал доцент слабо.

— Не ломайся, — грубо сказал Король. — Не в гостях.

Доцент выпил. Глаза у него быстро заблестели. Король повернулся к учителю и повторил:

— На тебе лица нет. Выпей еще.

Учитель помотал головой. Огонь разгорелся вовсю. По небу неслись рваные тучи, стряхивая снег на плохо прогретую землю. Потом снег пошел реже. За валуном, у костра, стало почти жарко.

— Вы молодчина, столько рыбы насобачили, — сказал Король учителю, завистливо вздыхая.

— Рыба? — отозвался учитель. — Заберите, поделите на двоих. Я сейчас домой пойду.

— Вы с ума сошли. Такое богатство. . . Жена вас дураком назовет. Такое счастье — раз в жизни. . .

— Счастье — это полное отсутствие несчастья, — умно вставил доцент.

Учитель заморгал глазами, отошел в сторону, сел на белый валун и отвернулся.

— Что с ним? — спросил доцент.

Король пожал плечами и направился к учителю.

Доцент видел, как учитель махнул рукой, Король сразу отошел.

— Ну что? — осведомился доцент.

— Не говорит. Вид у него такой, бесполезно спрашивать. . .

— Надо его успокоить.

— Успокой сам себя, — сказал Король. — Сейчас ему ни черта никто не поможет. В таких случаях лучше не подходить.

— Я заметил, он очень нервный был. А сейчас у него, наверное, катарсис.

— Это что?

— Катарсис — разрядка чувств. Очищение, так сказать, — снисходительно пояснил доцент.

— Верно он сказал, что ты умник, — вздохнул Король.

Мокрый старый пес лизал руки учителя. Солнце клонилось к западу. Сквозь прорехи туч выскакивал ранний месяц. И казалось от ветра, что месяц мчался.

Дом на канале



Тропа шла берегом канала. Кроты изрыли всю тропу. Кучи навороченной земли мешали идти. Человек здесь ходил редко.

Я свернул на дорогу, что вела к дому с зеленой крышей. В кустах паслась корова. Она подняла морду и облизнулась, попеременно засунув фиолетовый язык в каждую ноздрю. Через канал быстро летела стая скворцов. Увидев корову, они радостно загалдели. Несколько птиц опустились на ее спину и стали выщипывать шерсть, выскивать насекомых.

Неровный частокол тянулся до самой воды.

Дом был большой, с верандой и летней кухней. Я вошел во двор и сбросил рюкзак с онемевших плеч. Из-под крыльца вылезла заспанная курица и клюнула шнурок моего кеда, приняв его за червя.

— Ух ты умница, — сказал я. — Где твой хозяин?

На веранде тягуче скрипнула дверь. На порожке возник худой, почти плоский старик в гимнастерке и галифе, заправленном в пыльные сапоги. Оглядел меня пронзительно синими глазами.

— Чего надо?

— Вы Николай Иванович Казаков?

— Ну, я...

Я спросил про своего знакомого, который жил здесь прошлым летом.

— Не помню такого, — отрезал лесник. — Много вашего брата шляется.

Он уже взялся за ручку двери и вдруг спросил:

— Пешком топали?

— Пешком. — Руки у меня дрожали от тяжести мешка. — Машины сюда не ходят. У моста ждал полтора часа... Никто не знал, где это. Да вы не беспокойтесь. У меня палатка. — Я ткнул ногой набитый рюкзак.

— Я не против. Там туристы неподалеку. Парень ничего. А баба у него с капустой в голове... По песку голая ходит. — Николай Иванович презрительно плюнул.

— Ага, — сказал я. — Пойду.

Он обрадовался, что я ухожу.

— Лодку дам, если надо, и молока...

— Спасибо, — сказал я и направился в кусты.

На бугре зеленели прозрачные березы. С их стволов, играя на сквозняке, свисали лохмотья нежной кожицы. Палатку ставить негде: кругом валуны. Прошел дальше и выискал сносную поляну. Она была вся в цветах. Гудели дикие пчелы. Я сложил вещи, спустился в заросли чернотала. Из-под камня выбивался родник. В бочажке плавала трава, наклоненная течением. Я вырезал из дягиля дудку, вставил ее под камень, чтобы удобней было мыться и брать воду для питья. Вода была очень холодная.

Я поднялся наверх и сделал навес из пленки, сложил припасы, потом натянул палатку. Осталось заготовить дрова. Леса тут не было, одни кусты.

Я пошел на кордон. Николай Иванович чистил хлев. Из навозной кучи текла желтая жижа.

— Как устроились?

— Хорошо, только дров нет...

— Дело поправимое. На той стороне — гектар сухостоя. Руби.

Старик воткнул вилы и принес острый топор.

Мы пошли к лодочной стоянке. Лодок было штук шесть. Еще три лодки с ржавыми рулями лежали на берегу, перевернутые.

Я залез в крайний фифан, поднял трапы, сполоснул их в канале, убрал мусор, скопившийся на днище: листья тростника, двух дохлых окуней, забытых рыболовами. И снова постелил трапы. Хозяин принес длинные весла и какую-то железяку вместо якоря.

Я пересек канал, привязал лодку за кусты ивняка. Жара спадала. Я взобрался на гору, тут проходила песчаная дорога. Под ногами трещал сухой вереск. Было много погибших деревьев. Я стукнул обухом по сосне. Кора отвалилась, обнажив ствол, покрытый коричневой трухой. Ящерица резко удрала от меня с закрытыми глазами.

Я нарубил сухостоя, сделал четыре ходки туда и обратно. Потом перегнал груженую лодку и стаскал топливо к камням.

На моей поляне разгуливал рыжебородый парень в темных очках.

— Палатку выше надо было ставить, здесь уклон, — сказал он вместо приветствия.

— Ничего, — сказал я. — Посредине камней много.

Мы поздоровались. Звали его Анатолий. На его запястье была выколота татуировка: «Каждому свое». Мне это не понравилось. Не понимаю таких людей.

Он сел на корточки.

— Вы разбираетесь в зажигании?

— Да нет. А вы где живете?

— Ближе к дороге. Маскировка номер два. — Он засмеялся. — Как вас встретил старик?

— Даже в дом не пустил.

— Я так и знал. Он никого не пускает. Мне кажется, он немного не в себе. Вы заметили?

— Еще нет.

— Тут раньше база была, потом закрыли. Лесника сюда перевели. Его старый дом сгорел от неисправной проводки. База лодки списала. Он залатал их на живую нитку, сдает приезжим... — Анатолий поднялся с корточек, прикурил сигарету от зажигалки. — У вас хлеба найдется кусок?

Я отрезал полбуханки. Он понюхал хлеб.

— Вечерком приходите в гости. Люся солянку заделает.

Анатолий кивнул и скрылся в кустах. Я собрал удочку, пошел искать банку для червей. Старик куда-то исчез. За домом была мусорная яма, и банок там было полно. Я быстро накопал штук триста червей в жирной от помоев земле.

Солнце клонилось к западу. Легкие облака на горизонте расходились веером.

Я спустился к каналу, вымыл руки и вычистил щепкой грязь из-под ногтей. На мостках была прибита фанера с надписью: «Причал для катера «Маруся». Никакого катера не было видно. В ковше стояла деревянная моторка под номером. Борта в рыбьей чешуе.

Я сел на низкий помост. Из-за поворота показался буксир. Он двигался бесшумно, как привидение. Буксир поднял воду в канале, катил желтую волну.

Я подобрал ноги, пока не схлынет. Матрос с буксира сунул наконечник шланга в клюз и показал на меня пальцем рулевому. Оба засмеялись. Я помахал им рукой и поднялся наверх. В кустах стояла девочка в коротком платье. Штанишки у нее были в голубой горошек.

— Ты кто? — удивился я.

— Катя.

— Ты что тут делаешь?

— Дедушку жду. Он за Зойкой пошел. А ты кто?

— Дядя Сергей.

Девочка была худенькая, и я понинтересовался, завтракала ли она сегодня.

— А что? — серьезно спросила она, одергивая платье. В левой руке у нее были полевые цветы.

— Больно ты худая, как цыпленок, — брякнул я.

— Не выдумывай. — Катя покраснела и пошевелила босыми ногами в траве.

Меня что-то насторожило, но сначала я не понял. Девочка была прелестна. Она вытащила из букетика две тощие гвоздички и протянула мне.

Я взял цветы. На Катином лице выразился испуг. И тут до меня дошло. Рот у нее был искалечен пластической операцией: над верхней губой — белый лоскут. . .

«О господи, — подумал я. — Помоги ей!».

— Ты щук приехал ловить? — спросила она как ни в чем не бывало.

— Щук я боюсь. Одна меня кусила в молодости, вот за этот палец. . .

Я согнул костяшку, показал, как меня цапнула щука. Девочка засмеялась.

Николай Иванович вел корову. Катя побежала в дом, вынесла горбушку хлеба:

— Зойка, Зойка.

Корова слизнула хлеб жестким языком и стала двигать челюстями, как жерновами. Ворота в хлев были низкие, старик загнал корову и пролез туда. Я видел, как он массирует вымя. Катина головка мелькала на веранде. Я сел на колодезный сруб, бросил внутрь гвоздички.

Николай Иванович подоил корову, запер ворота. Ведро было полное, с шапкой белоснежной пены. Девочка поставила на крыльцо стеклянную тару. Он стал цедить молоко.

Не знаю почему, но мне хотелось глядеть на Катю — словно столбняк напал, наваждение. Казалось, что от нее

идут какие-то токи и что она сама должна была это чувствовать. Она убежала в дом. Старик недовольно зыркнул на меня из-под бровей.

— Не обращайтесь внимания на ее лицо. Прошу вас. Она из пионерлагеря сбежала из-за этого. . . — Он вздохнул.

Я готов был сквозь землю провалиться, взял банку с молоком и пошел на поляну. Солнце спускалось в озеро. По верху палатки прыгал дрозд. В кустах гремело радио. Передавали футбольный матч с чехами. Я вспомнил, что приглашен в гости. Лоск наводить не стал, только пригладил шевелюру.

Анатолий с женой сидели на надувном матрасе. Под сковородкой дымился костерок.

Я поздоровался с Людмилой. Ее смутил мой приход: пошла в палатку надевать брюки. Я оглядел «пикап», стоявший немного в стороне: дверцы были раскрыты, на заднем сиденье лежала куча туристского барахла.

— Нашли искру? — спросил я.

— Черта с два. Завтра придется день терять.

Анатолий, не вставая, опрокинул крышку со сковороды, пощупал ножом солянку. Люся вынырнула из палатки, держа в руках бутылку «Экстры» и раздвижные стаканчики. Я сел на землю.

— Двигайтесь ближе, будем есть со сковороды, — сказала жена Анатолия. Она успела прифрантиться: лицо блестело от крема.

Я передвинулся.

— Сравняли счет. — Анатолий покрутил настройку, убавил звук. Грузины пели высокими голосами еле слышно. В низине ухало, будто там забивали сваи.

— Всю душу вымотала, — сказал Анатолий.

— Кто? — спросил я.

— Эта чертова сова. Я бы ее застрелил.

— Ты бы сейчас всех застрелил, — сказала Людмила

и обратилась ко мне: — Вы уж извините. У мужа конфликт с начальством. Вот он и злится.

— Откуда ты взяла, что я злюсь? Плевать хотел. . .

Над горизонтом вспухала чудовищная луна. Я подбросил щепок в костер. Они медленно воспламенились. Разговор не клеился. На взлете сова ударила тяжелым крылом по ветвям. Анатолий подобрал камень, бросил его в темноту. Невидимая птица заскрипела крыльями, как протезами. Обычно совы летают бесшумно, эта, наверное, была слишком старая.

— Не к добру сова у жилья, — вздохнула Люся.

— Скорей всего это филин, — сказал я.

— Неважно. — Она зябко поежилась. — Спать не могу.

— На меня говоришь, а сама только и думаешь про свою треклятую работу, — проворчал Анатолий.

— Ну и что? — встрепенулась Люся и заговорила быстро: — Я работаю в клинике, где лежат дети с пороками сердца. . . Бывает, они играют, и вдруг с одним из них приступ. Посинеет, опустится на пол, потом отдышится и снова побежал играть. Я в глаза им не решаюсь смотреть. Эти ужасные операции. . .

— Завела шарманку. Шла бы мороженым торговать, — грубо перебил Анатолий, прибавляя громкость приемника.

Людмила с обидой посмотрела на мужа и отвернулась.

Луна быстро двигалась по верхушкам деревьев. Филин улетел. Я понял, что лучше уйти: хозяева не в настроении. Я встал. Они меня не удерживали.

Музыка еще играла. Я залез в спальный мешок, задернул сетку и крепко уснул.

Утром меня разбудил свист пролетающих уток. Я выглянул наружу. Они шли низко, как штурмовики, одна за одной. Было холодно. Над озером стоял густой туман, даже мыса не видно.

Я вылез. На ветвях берез висели капли росы. Ноги тотчас заоченели. Я надел кеды с шерстяными носками и выпил молока с хлебом.

Николай Иванович выгонял корову на луг. Курница хлопала отсыревшими крыльями.

Я надел болоньевую куртку, взял садок и удочку и направился к лодкам. Банка с червями лежала на помосте. Сиденья были мокрые. Я смахнул рукавом росу. От канала в озеро шла протока. Она была очень узкая: весла задевали за камыши.

Лодка плыла легко и бесшумно. Греб минут сорок, а заросли не кончались. Попадались открытые места. Солнце вставало, туман не пропускал лучи. Мыс уходил вправо.

Наконец я вырвался на чистую воду и закорил лодку. Глубина — метра три. Забросил удочку, стал ждать. Рыба не брала. Сырость была такая, что у меня зуб на зуб не попадал. Уже хотел менять место, как вдруг прорвало. Сначала думал — язь взял. Удочка согнулась. Я долго водил рыбу, пока она не выдохлась, утихла. Вытащил ее, как половую тряпку. Весу в ней было граммов восемьсот. Вся седая, с красными глазами плотва. Ужас, какая старая. Никогда не видел такой. Положил ее в садок и спустил за борт. Там она бешено забурлила, потом смирилась.

Вторая клюнула — не меньше: спина толщиной в три пальца. Наверное, у рыб тут был откормочный цех. Часа два таскал жирных старух. Они были теплые на ощупь. Садок тяжело висел на уключине.

В протоке тарахтела моторка, потом двигатель взревел на предельных оборотах. Гул стоял, как на аэродроме. Плотва перестала брать.

Лодка выскочила из камышей. На корме сидел Анатолий в черных очках. Он задросселировал мотор и плавно подвалил ко мне.

— Как дела?

Я поднял сетку.

— Ого, вы прямо чемпион!

— Люся где? — спросил я.

— В Библии сказано: не сиди с женщиной, — весело откликнулся Анатолий. — Пойду на разведку за мыс. Там щуки, как лошади. Заодно смотаю в Рыбацкое, хлебом разживусь. . .

Он врубил газ. Моторка встала на дыбы и понеслась по озерной глади.

Туман развеялся. Я снял куртку, накрыл ею садок и выдернул из грунта якорь.

Лодка вошла в заросли, полные невидимой жизни. По сторонам протоки что-то булькало, чавкало. Летало много рыжих стрекоз.

Я поднял весла. Из воды на меня глядели черные глаза. Я решил, что щука высунула башку, оказалось — ондатра. Она пошевелила усами и нырнула, показав плоский хвост.

До обеда я чистил рыбу. Две еще были живые. У одной вырезал трехгранное сердце. Оно долго сокращалось на моей ладони. Внутренности рыб обросли белым жиром. Вычищенную плотву сложил в ведро и спустил его внутрь колодца, пока оно не коснулось днищем воды, и привязал веревку за гвоздь.

Лесник ушел в обход: стояла сушь, могли быть пожары.

В тени палатки я надулся густого молока и направился к соседям. Там никого не было. Солнце нажарило крышу автомобиля. Воняло краской и бензином. Терпеть не могу машины. В городе от них прохода не стало: дышать нечем, особенно в безветрие.

Я переехал канал. Тут стояла другая лодка. На сиденье валялись Люсины босоножки. Взобрался на гору и пошел по дороге на карьер, колея упиралась в него.

Людмила с Катей сидели в песчаной яме. Обе — красивые, как индианки. Они очень мне обрадовались. Я ста-

шил с себя тхасы и рубашку, упал на раскаленный песок.

— Катя интересовалась, где дядя Сережа, — сказала Людмила.

Девочка зарделась. Мы немного поболтали, потом я залез в воду. Присмотрел двух окуней. Они были черные, как кочегары. Один подплыл к моим ногам. Я хлопнул рукой по воде, он обиженно отошел. Карьер был глубокий. Я решил устроить спектакль. Забрел в тростник, толстый, как бамбук, и смастерил из одного колена шноркель — трубку для дыхания под водой. Потом нырнул и ухватился за корягу, выставив шноркель наружу. На коряге сидел водяной паук с воздушным мешком на спине вместо баллона. И я подумал, что в природе существуют вещи, которые мы только копируем. И довольно бездарно. На дне копошились блошки, козявки.

Я долго был под водой. Когда вынырнул, девочка вдруг заплакала. Люся прижала ее к себе.

— Что случилось? — спросил я.

— Думали, вы утонули, — сердито ответила Люся.

Катя вырвалась из ее объятий, напялила платянце и убежала. Такой реакции я не ожидал.

— Вы что-нибудь соображаете? Мы ждали минут пять. Она закричала не своим голосом. . .

— Откуда я знал, что вы напугаетесь. У меня шноркель. — Я показал трубку.

— Могли бы предупредить.

— Виноват, исправлюсь.

— Все мужчины — скоты порядочные, — сказала Люся, но по ее лицу было видно, что простила.

Мы стали загорать. От выпитого молока в моих кишочках будто кто на колесах катался. Я отодвинулся. Мне стало стыдно за свой дурацкий поступок. Глядел в сторону леса: не покажется ли Катя. В воздухе бляели бекасы. Они набирали высоту и резко падали вниз, тор-

мозя хвостами. Птиц было не сосчитать. Для охоты здесь золотое дно.

Люся перевернулась на спину, вытянула точеные ноги. На песке она казалась очень длинной. Я похлопал по ее плоскому животу трубкой и снова пошел купаться.

У воды сидели полчища поденки, по-местному — шведа. Им было жарко сидеть на песке. Поднялись тучей и облепили мое тело. Нашли посадочную площадку! Я отмахнулся и нырнул в глубину. На середине карьера дна было не достать, как ни старался. В ушах заломило. Я вылез одеваться. Люся ждала, пока я справлюсь.

— А где Катюша? — небрежно спросил я.

— Сами натворили дел и задаете глупые вопросы.

Мы поднялись наверх. Насекомые обалдели от зноя, утихли.

На берегу стояла одна лодка, — значит, Катя была дома. Мы переехали. Я вытащил из колодца улов. Людмила заглянула в ведро.

— Когда это вы успели?

— Рад стараться для общества.

— Оставьте юмор третьей роты. Извинитесь перед девочкой, не будьте дубиной. . .

Катя сидела на приступочке, крутила пояс ситцевого платья.

Я тронул ее за плечо:

— Катерина, честное слово, не подумал. У меня трубка такая, могу под водой год быть. . . Хочешь, и тебе сделаю?

Девочка помотала головой, упорно разглядывая свои ноги в цыпках. Люся потянула меня за рукав. Я выложил на ступень три плотвины:

— Дедушке на ужин сварить. . .

Катя поправила рассыпавшиеся волосы. Какое-то кроткое сияние шло из ее глаз. Она отвернулась. Мы медленно пошли со двора.

— Трудно ей будет, и ничего тут не сделаешь, — вздохнула Люся, когда пришли на стоянку. — Очень впечатлительная. Не знаешь, как и вести себя с ней.

В кустах было жарко. Я раздул огонь, и она начала стряпню.

— Не буду мешать, — сказал я.

— Наоборот, люблю, когда мужчина сидит рядом, наблюдает, как я готовлю. От Анатолия не дождешься, всегда меня критикует, — сказала Люся и вылучилась из платья: — Жарища!

Я пошел на свою поляну. В стороне был огромный камень, белый от птичьего помета. На нем сидела чайка. Я отломил кусочек хлеба, подбросил вверх. Она успела подняться, схватила его на лету. Я почему-то подумал, что об такой камень можно хорошо треснуться башкой, если немного разбежаться.

Взял блокнот с карандашом и лег в тень палатки.

Перед отъездом редактор забраковал мой первый очерк, велел сократить на четверть, убрать «красоты», как он выразился. Опыта у меня не было. Иногда мне удавалось накропать два столбца. Редактор терпеливо ждал, когда я «раскроюсь», учил газетному ремеслу. Ни черта у меня не выходило. Лучше снова идти к станку, да ребята засмеют: «Это тебе не винты крутить, милый друг».

Я пролистал записи, прикидывая, что можно убрать.

Под навесом толклась мошкара. Мои ноги вылезли на солнце. Я передвинулся. С озера послышалось тарахтенье мотора. Вернулся Анатолий. Транзистор орал на полную мощь. Потом все стихло. И я услышал, как Анатолий разговаривал с женой. Люся сказала, что мы загорали.

— Пока я добывал хлеб насущный, ты перья распукала. Вчера он на тебя глядел как ненормальный... Ты и рада.

— Начинается. Выходит, мне ни с кем нельзя общаться? Противно даже.

Было непонятно, почему Анатолий приревновал. Конечно, не стоило ходить к ним. Влезая в чужую жизнь, рискуешь напороться на неприятность. Меня зло взяло, хотел уйти подальше, да Людмила крикнула:

— Сергей, обедать!

«Ладно, — подумал я. — Детей с ним, что ли, крестить?»

Рыба была на редкость жирная, таяла во рту. Мы съели по четыре куска и выпили горячего чая. Нашлась и для меня кружка.

После еды Анатолий вытряхнул из мешка красных лещей, килограмма по полтора каждый.

— Почти на голый крюк брали.

— Да ну? — удивился я.

Лещи были какие-то подозрительные: чешуя сбита, кровавые полосы на спинах. Будто в сетях побывали. Я ничего не сказал — его дело. Бог с ним. Он ухмыльнулся и полез копаться в машину.

— Хлеб возьмете? — спросила Людмила.

— У меня еще есть.

Я пошел на кордон заглаживать вину перед Катей.

Она сидела на суке старой вербы и болтала ногами, наблюдая за галкой. Птица качалась на телефонных проводах, удерживая равновесие: то голова перетянет, то хвост. Катя засмеялась:

— И я так могу.

Взялась за ветви, встала на сук и прошла по нему, балансируя руками.

— Не дури, — сказал я. — Ты же не мальчишка, чтобы лазать по деревьям.

— Дядя Анатолий сказал: я — как белка.

— И ты поверила? Он наговорит, только слушай. Слезай сейчас же.

Девочка задумчиво постояла, сделала три робких шага к стволу и соскользнула на землю. Я с облегче-

нием вздохнул. Еле удержался, чтобы не дать ей затрепшину.

Мы сели на перевернутую лодку, шершавую от лопнувшей краски. Галка перепрыгнула на рейку с изоляторами, вертела башкой. Катя натянула на исцарапанные колени платье.

— Сегодня дедушка кричал во сне. Я встала и разбила его. Он рассердился, что спать мешаю. Я темноты боюсь. . .

— Ну, ты даешь, — сказал я неуверенно. — Вот у нас школа была в другой деревне. Осенью я в шесть вставал и шел. Дорога черная, небо черное, хоть глаз выколи. Сяду на корточки, посмотрю на край неба — увижу деревья той деревни, опять иду по грязюке. И то не боялся. А ты ведь дома. . .

— Ага, — Катя грустно улыбнулась. Зубы у нее были широкие, как лопатки. — Зойка ночью вздыхает и — хруп-хруп. . .

— Ладно, — сказал я. — Вон тетя Люся идет за нами. Так мы помирились.

В субботу на микроавтобусе приехали шумные горластые рыбаки. В доме стоял гвалт. Снаряжение у них было богатое. Все наперебой хвастались японскими снастями, мормышками.

Николай Иванович разместил их по двое на четыре лодки. Майор в отставке Абашкин, старший группы, захватил персональную «финку».

— Знаете, люблю один помечтать с удочкой.

Старик вывез на моторке рыбаков. На выходе из камышей они угостили его спиртом.

Вечером к моей палатке прибежала зареванная Катя. Я пошел за ней. Николай Иванович спал, сидя за столом. Мы уложили его в постель, стянули сапоги. Недоенная корова мычала в хлеву. Я взял чистое ведро, вазелин.

Сперва у меня не получалось. Зойка нервничала, за-

жимала вымя. Сосцы были тугие. Катя гладила ее. Я кое-как приспособился, надоил полведра, остальное не мог взять. Разлили молоко по банкам. Катя убрала их в подпол и села на крыльцо, подперев осунувшееся лицо ладошками. Носик ее припух.

«Скоты, — подумал я про рыбаков. — Совсем без понятия. «Добро» сделали. Веселиться приехали...»

Утром я помылся в родничке и пошел узнавать про самочувствие Николая Ивановича. Он отбивал косу, виновато кряхтел. Небо было чистое, с палевой дымкой на западе. Ласточки ласково помаргивали крыльями.

— Погода к ветру поворачивает. Надо штормовое предупреждение вывесить, — сказал старик и, отложив косу, взобрался на чердак и привязал на шест полотняную тряпку.

На веранде спала Катя. Через открытую дверь была видна ее розовая пятка, высунутая из-под одеяла.

Николай Иванович спустился по лестнице на землю, налил мне молока. Я пошел завтракать. Анатолий с Людмилой делали разминку. Резвились.

— Пусти, — пищала Люся. — Слышишь, отпусти, больно.

— Ах, ты кусаться? Вот я тебя.

Я им позавидовал. По радио передавали о событиях в Ольстере. На ярком солнце не хотелось думать, что где-то льется кровь, страдают люди. Я взял десяток шершавых поленьев и направился к соседям.

— Привет молодоженам!

Они были возбуждены борьбой. Лица — красные. Людмила подскакивала, как пружина, хватаясь за кастрюльки, тряпки. Я сбросил дрова на камни. Анатолий массажировал грудь короткими пальцами.

— Видели бы вы вчера нашего дорогого шефа. Умора. Еле выполз из лодки. Выключи, говорит, радио, дай отдохнуть, — мол, голова кружится. Я тихонечко подсказал, отчего у него голова не в порядке. Он выругался,

веслом хватил по лодке, валец треснул: «Я, понимаешь, контуженый, шум не переносу». — «Заметно, говорю...»

— Постыдились бы глумиться над старостью, — не выдержал я и пошел прочь. Обидно стало за Анатолия — взрослый человек.

Взял свои истрепанные блокноты и переехал канал. По утренней тропе идти было хорошо. Нашел вырубку, сел на пень. По рыжей земле стелилась узкая трава. Тонкий подлесок между пнями светился. Рядом была бочага, полная воды с листьями. В этом прекрасном супе плавали головастики, жуки. Я прикинул, как лучше перелопатить очерк: отрезать середину, отжать конец... Пятнадцатого августа — срок сдачи, дома еще посижу над ним, машинистке Клаве отдам.

Солнце палило непокрытую голову. Помылся в бочаге и лег в тенек под осину. В кустарнике хрустнуло. Оглянулся и увидел Катю.

— Как попала сюда?

— Деда перевез. Я знала, что ты здесь. Полчаса стою, ты пишешь...

— Не говори, радость моя. Сдуру в газету поступил работать. Учусь писать. — Я помахал блокнотом, отгоня назойливых комаров.

— Когда научишься, ты как будешь называться, — Лев Толстой, да?

Ох, милое детское простодушие!

— Хочешь, покажу синицу, — вдруг предложила Катя и подошла к осине. Слева чернело дупло. Я встал, заглянул в дыру, но ничего не увидел. Дупло глубокое. Полез туда рукой. Там что-то зашипело. Я отдернул руку. Девочка захлопала в ладоши:

— Испугался? Это она шипит, как змея.

— Вот еще, буду я пугаться, — небрежно сказал я и стукнул по дереву. Синица выпорхнула на ветку, прозрачно пискнула. Катя растопырила платице и села к бочаге.

Дети сами придумывают игры. Я не замечал, чтобы Катя играла. Она любила созерцать. Поймала жука-плавунца и долго разглядывала его, потом выпустила в воду. В ее глазах застыло удивление.

— А можно такого жука сделать?

— Да нет, — сказал я. — Даже червяка нам не сделать, ни травину. Не дано человеку, хоть тресни. Лучше не думать об этом.

— Почему?

— Вырастешь, поймешь. Сейчас никто этого не знает. . .

Катя вздохнула на мой невразумительный ответ. Тень трепетавшей осины играла на ее бесподобном лице. У меня даже сердце закололо. Стало прохладно, с севера тянул ветер. Мы пошли через лес и переехали канал. Девочка убежала к деду.

Я решил подкопать червей. Банка стояла под навесом. Верхний слой земли в банке подсох, но внутри было сыро, остатки червей хорошо сохранились. Должно хватить на одну рыбалку. В кустах громко разговаривали. Люся вышла на поляну.

— Сережа, идите сюда.

— В чем дело?

— Разрешите наш спор.

Я нехотя поплелся к ним. Анатолий был злой как черт, лицо покрыто красными пятнами.

— Как это понять? — спросил.

— А что? — сказал я.

— Пошел к Николаю Ивановичу за картошкой. С транзистором. . . Вижу, больной человек после вчерашнего, говорю: «Хотите в Рыбачье смотаю за чекушкой?» Он ехидно посмотрел на меня и вдруг пристал: продай приемник. Думаю, чего ему в голову втемяшилось: то ругался, то вдруг — продай. Сказал: «Тридцать рэ дадите?» — «Дам». Отсчитал мне пятерками. Я хотел объяснить, как обращаться. Говорит: «Знаю». Взял молоток и

на моих глазах размолотил транзистор в пыль. Ей-бегу...

Анатолий замолчал, выпучив глаза, сидел как истукан. Люся прыснула в ладошку:

— Ой, не могу.

И я не выдержал. Анатолий подпрыгнул.

— Ну вас к дьяволу! — закричал, пошел заводить машину.

— У вас перец есть? — спросила Люся.

— Был. Вы картошки ссудите. Баш на баш.

Отсыпала полведра, и мы пошли ко мне. Я разыскал перец.

— Самолюбие задето у него. Не обращайтесь внимания, — сказала Людмила.

Она была в белой кофте, на ногах — чистые босоножки. На шее — бусы из полированных персиковых косточек. К ее загару они очень шли. Только надглазья — зеленые, как у лягушки. Лучше бы она не красилась. Ничего не сказал — еще обидится. Хватит с меня одного Анатолия. Спросил, куда собрались.

— В кино. Вы желаете?

— Да нет, — сказал.

Она улыбнулась на прощание. Я чувствовал — ей самой ехать не хотелось.

Машина ушла. За мысом собрались чайки. Я хорошо видел их, целую стаю. Ласточки носились без обычного щебетания. Насекомые исчезли. На поляне стояла гробовая тишина.

Я наварил картошки с тушенкой, наелся от пуза. Над крышей дома шелкала белая тряпка. Ветер дул сильно. Я решил, что за стеной камыша смогу посидеть с удочкой. Взял снасти и банку.

Николай Иванович тесал квартальные столбы для участка, где были посадки кедра. В траве блестели осколки транзистора.

— Не советую ехать, — предостерег Николай Иванович. — Ноги гудят к непогоде. Эх, старость — не радость...

Он сел на бревно и закурил папиросу. Из дома вышла Катя, подбирая щепки для плиты. Старик ласково смотрел на нее, покашливая от едкого дыма.

Я повернулся, побрел прочь, размахивая банкой. Наверное, бедных червяков мутило от качки. Подбросил банку. Она высоко взлетела и, кувыркаясь, покатила в канаву. Червяки рассыпались по земле.

Я вбил колья поглубже, залез в свое логово. Лежал там и почему-то вдруг вспомнил соседа по дому, старика Воронкова. При ходьбе у него тряслась голова, как у голубя. Однажды он хотел поговорить со мной. Я даже не остановился, сказал, что недосуг. Через два дня Воронков умер от инсульта. Я потом мучился раскаянием, не мог простить себе. Что он хотел сказать? С тех пор у меня пошли нелады с женой. Простое совпадение, конечно...

Ветер гудел по верху палатки. Мне было тошно, я уснул. Проснулся среди ночи. Людмила барабанила по брезенту:

— Сергей!

Я вылез. Ветер чуть не сшибал с ног.

— Что-то случилось. Люди в озере... — сказала она, кутаясь в штормовку.

Я оделся потеплее. Мы пошли на кордон. Во дворе галдели рыбаки. Из их разговора я понял, что не вернулся майор Абашкин. Никто не решался ехать на поиски: за сутки они устали. Каждый глядел на другого, надеясь втайне, что кто-нибудь возьмется за столь трудное дело.

— Эх вы, болваны, — выругался Анатолий и пошел заводить моторку.

Николай Иванович приволок два жгута веревки, спасательные пояса, аккумуляторный фонарь.

— По тресте смотри, его туда загнало, — уверенно заявил Николай Иванович.

Я вызвался ехать, но Анатолий решил, что справится один. Вид у него был воинственный.

Мотор прогрелся. Анатолий сел на корму и включил сцепление.

Рыбаки укладывали узлы, тихо переругиваясь. Им было совестно, что посторонний человек ехал на розыски их товарища. Пошли в летнюю кухню выпить для храбрости.

Мы с Люсей дежурили во дворе, смотрели в сторону разбушевавшегося озера. Николай Иванович выходил из летника и спрашивал:

— Не слышать?

— Пока тихо.

Прошло больше часа. Взывал ветер, неся сырость из тьмы. На чердачном окне хлопал ставень.

Вдруг из протоки показалась лодка. Она была очень низкая, полная воды. Согнутый человек греб из последних сил. Это был Абашкин. Он вылез и чуть не упал, так его шатало. Мы помогли выкинуть мокрый мешок и снасти.

— Думал, ночевать придется у Нептуна, — сказал он.

Рыбаки гурьбой вышли во двор, загудели. Оказывается, майор ловил за мысом. И не успел войти в камыши, когда поднялся ветер. Отстаивался за камнями. Потом тащил лодку бечевой по мелководью и оттуда едва выбрался. Рыбы у него был целый мешок.

Для порядка рыбаки матюгнули майора и стали засовывать вещи в машину. Шофер зажег фары, минут пять гонял двигатель. Все уселись по своим местам, водитель дал сигнал. Автобус уехал. Николай Иванович ругнулся им вслед:

— Ну, народ. Сделали дело, и в кусты. Ждать будем?

— Подождем, — сказал я.

По всем подсчетам Анатолий должен был вот-вот вернуться. Люся твердила:

— Нельзя сидеть сложа руки. Вы же мужчины...

Николай Иванович курил папиросу за папиросой.

— Ладно, бери запасные весла.

Я побежал к сараю. Старик взял длинный шест, плащ, кусок проволоки, бутылку с керосином, какие-то тряпки.

— Факел сделаем, — пояснил он.

Мы пошли к каналу. Вода хлюпала под мостками. Мы сели в лодку и оттолкнулись.

Людмила стояла наверху, смотрела, как мы входим в узкую протоку.

Ветер дул немного в бок. Лодку прижимало к камышам. Мы гребли одной стороной. Меня обдавало брызгами, куртка намочла. Низко неслись тучи, но дождя не было. Протока становилась шире. Я пригляделся, вел лодку правильно. Поддавало крепко. Николай Иванович сложил весла, вычерпал ковшом накопившуюся воду.

— Отдохни, а то неизвестно, что еще будет, — сказал он.

Мы передохнули, снова двинулись в темь.

На небе светлела полоса от луны. С озера шел несмолкаемый рев. Лодку бросало по-настоящему. Я только и делал, что держал нос лодки к волне. Николай Иванович откачивал поступающую через борта воду.

Я спросил, куда идти.

— Держи к мысу, — ответил он.

До открытого пространства оставалось каких-нибудь полкилометра. Из-за тучи выскочила луна. Я сориентировался, даже заметил отмель, где в затишке сидели белые чайки.

— Дальше не ходи, погибнем! — закричал Николай Иванович.

Я свернул опять в заросли, долго петлял среди них. Старик помогал шестом. От тяжелой работы у меня вдруг начались судороги. Мышцы рук вздулись стальными ком-

ками. Я расслабился, желваки опали. Стал грести — они опять вспухли, готовые разорваться. Чуть не взвыл от боли. Николай Иванович заметил, что лодка не идет.

— Ты чего?

— Не могу. Руки свело.

— Эх, не вовремя тебя разобрало...

Мы поменялись местами. Я долго растирал мышцы. Они стали отходить. Старик поднял весла на борт, нагнулся и вытащил из-под сиденья факел, зажег его. Неправильная лодка вошла в заросли, как в масло. Стали кричать. Факел скоро выдуло. От его света мы ни черта не видели. Погребли дальше. Темнотища была адова.

Справа мелькнул свет. Я подумал, что померещилось, но фонарь мигнул еще раз — Анатолий сигнализировал.

— Давно заметил факел. Не мог дозваться. Где рыба? — спросил он, когда наши лодки сблизились.

— Приехал сразу после тебя, — сказал я.

— Так и знал. Зря людей взбаламутил. Терпеть не могу слюнтяев. Бензин кончился. На веслах такую машину не развернуть. Парусит, зараза. — Анатолий стукнул по топливному баку. Бак зазвенел.

— Не может этого быть. Утром самолично управлял, — удивился Николай Иванович.

— Выходит, я выпил? — зло произнес Анатолий.

— Ладно, — сказал я. — Дома разберемся. Люся изнервничалась.

Мы сцепили лодки. Николай Иванович перешел в моторку, выталкивать ее шестом. Анатолий сел ко мне.

Постепенно лодки вытягивались к протоке. Ветер гнал к дому. Иногда моторка наваливалась на фюфан, Анатолий орал на старика:

— Управлять не можете? Сидели бы на печи...

В предзвездной тьме было видно, что старик дико устал, еле на ногах стоит.

Огонек кордона приближался. Люся ходила по берегу, укутавшись в длинный плащ.

— О господи, наконец-то!

Она вынесла сухую рубашу и свитер. Муж не стал переодеваться, ушел на стоянку, бормоча:

— Ноги моей здесь не будет...

Я собрал вещи, разбросанные по моторке, осветил фонарем движок, бак. Сильно воняло бензином. Я поднял трап, окунул пальцы в набравшуюся воду, понюхал. Сверху плавал чистый бензин. Я проверил шланг и кран, перекрывающий топливо. Все было ясно: гайка ослабла, бензин вытек через отошедшую пробку.

Я выплеснул ковшом бензин, поставил весла к сараю. Николай Иванович уже вскипятил чай. Мы сели на лавку и с пыльным сахаром выдули полчайника.

Я сказал про краник.

— Понятно. У меня было так. Хотел законтрить, руки не доходили. Моя вина, не предупредил. Может, в доме заночуешь, в палатке колотун?

— Я привык, — ответил я. — Переодеться найдется во что?

Старик дал стеганку и диагональные галифе. Я сменил одежду и потопал на поляну...

Проснулся я в полдень. Солнце накалило палатку. Стрекотали кузнечики.

Мои соседи уехали. На опустевшей поляне на камне лежала записка, придавленная поленом. Я стал разбирать круглый почерк: «Сергей, не хотелось Вас тревожить. Вы сладко стонали во сне. Не могла уговорить мужа остаться. Старик доконал его: целое утро извинялся за какой-то краник... Катя пошла за черникой, специально для Вас. Кажется, девочка ревнует меня к Вам. Не ляпните ей что-нибудь по дурасти. До свидания. Людмила».

Я повертел бумажку и сунул ее в лепелище костра. Трава была вытоптана, валялись банки, обрывки газет. Я собрал мусор и отнес в яму.

На душе было пусто, чего-то не хватало. Пошел делать завтрак. Пока варилась картошка, вытащил на солнце спальный мешок. Под тентом лежали две булки — Люсиная забота.

Картошка хорошо разварилась. Я раскроил ножом банку с тушенкой. Потом я увидел Катю. Она стеснялась подходить. Рот и колени ее были вымазаны черникой. Глазки блестели. Поставила пластмассовое ведерко с сизыми ягодами в траву и засмеялась:

— Ты совсем ничего не видишь. Смотрел на меня два раза... — Девочка закатила глаза и показала, как я смотрел. — Тетя Люся уехала... Она поцеловала меня. Вот... Дядя Анатолий ругался, что автомобиль не заводится. Очки у него шлепнулись, он на них наступил...

— Не везет человеку, — сказал я и бессовестно запустил руку в ведерко.

Катя села среди высоких цветов. Пушистые волосы ее светились над головой.

— Мне нравится, как ты ешь, — вдруг выпалила она и зарделась до самых ушей. У меня запершило в горле.

— Вот еще выдумала. Ем, как положено...

— Ты не как все... Ягоды вываливаются изо рта. Я так не умею...

— Разве? — Я с облегчением вздохнул.

Прилетела чайка и заглотала оставленные мною куски хлеба. Зоб съехал на сторону. Она почистила перья, потом поднялась, бесшумно закружила над нами. Катя молча следила за ней, поворачивая запрокинутое лицо то вправо, то влево. Я ел ягоды, стараясь не уронить ни одной. И подумал, что мог бы жениться на Кате, когда она подрастет. Эта мысль не показалась мне кошунственной. Десяток лет разницы ничего не значит...

Я встал и потрогал живот:

— Наелся, как бегемот. Пора купаться.

Катя счастливо улыбнулась закрытым ртом. Швы растянулись и были не так заметны.

Мы пошли к лодкам, переехали желтый канал. С горы было видно бескрайнее озеро. Небольшая туча заслонила солнце. Здесь дождя не было, но его шум был хорошо слышен: озеро побелело там, где он шел. И у нас брызнуло несколько капель, мы хотели вернуться, но тучка ушла на Рыбацкое.

Вода в карьере была теплая. Мы разделись и залезли в этот чудесный котел. Глупые от безделья окуни ходили за нами. С обрыва свисали корни трав. На другой стороне карьера веселились грачи. Налетел ветер, задрал им хвосты и побежал дальше между рыжими соснами. Мы собрались домой.

На кордоне громко разговаривали. У мостков стоял чужой катер с подвесным мотором. На борту было выведено белилами: «Маруся».

Я ломал голову, кто приехал. Навстречу выбежали две лайки с розовыми носами и заливисто облаяли нас.

На крыльце сидел тучный человек в защитной рубашке, с биноклем на груди. Он цыкнул на собак. Видно, это было начальство. Николай Иванович вытянулся перед ним столбиком.

— Ты на Плоткина не равняйся. У него совесть закрыта на просушку, — недовольно сказал начальник и строго посмотрел на меня: — А это кто?

— Турист.

— Ты их не приваживай. Лес подожгли на одиннадцатом участке. Хорошо, колхозники вовремя заметили...

Старик что-то пробормотал в свое оправдание.

На перилах висели моя куртка и теxасы. Я взял одежду и пошел на поляну в сопровождении собак. Им здесь понравилось: улеглись в тень, высовывая острые ушки из травы. Я вывалил холодную картошку. Они в два счета слопали угощение. Наверное, хозяин держал их в черном теле. Я лег рядом и задремал на вечернем

солнце, даже не слышал, как лайки убежали на зов лесничего.

Темнело, когда я очнулся. На фоне заката ветки берез четко вырисовывались каждым листом.

От спанья на земле я еле разогнулся и сделал пробежку. Потом принес свежей воды, вскипятил чай. Над горизонтом всплывала луна с отгрызенным боком. Без соседей было скучно. Всегда так: люди мешают — ищешь одиночества, а на другой день бежишь сломя голову к себе подобным...

Во тьме ворочались звезды. Я намазал хлеб маргарином, выпил кружку чая. Спать не хотелось. Сколько раз заканвался — не ложиться днем. Потрогал бороду — неделю не брился, оброс, как фокстерьер. Вспомнил жену Галю. Не получилась у нас семейная жизнь. Забуксовала. Я женился после армии. Сначала все было хорошо. Галя заканчивала политехникум. Поехала на практику, оттуда вернулась сама не своя. Ходила как в воду опущенная. Не мог понять, в чем дело. Ее подруга проговорила: влюбилась Галя в одного инженера. Не поверил, спросил ее саму: верно? Да, говорит, жить без него не могу, хоть режь. Заплакала. Любовь в мешок не упрячешь. Сказал: если это серьезно, уходи. Молча собрала вещи, даже не оглянулась. Ждал, думал, вернется. Где там...

Костер угасал. В лунном сиянии летала сова. Тихо свистели мыши. Было далеко за полночь. Со стороны кордона послышался неясный шум. Я подумал, что Николай Иванович выпил с начальником и колобродит на усадьбе. Почудился крик. Я не выдержал, направился туда.

На траве под деревом лежала Катя в ночной рубашке. Старик стоял перед ней на коленях и причитал:

— Горе-то какое, деточка милая, не углядел тебя...

— Что произошло?

— Сам не могу понять. Вроде с дерева сверзилась,

вон сук отломленный... Она и раньше по ночам бродила в большую луну...

Мы внесли Катю в дом и положили ее на кровать с медными шарами. Старик обмыл кровоподтек на ее лице. Она очнулась:

— Я где?

— Тут, внученька. Я с тобою.

— А, — повернулась на бок и впала в забытие.

Дед всхлипнул длинным носом и растерянно поковырялся в карманах, будто искал что-то необходимое. Потом ушел в смежную комнату крутить телефон.

— Але, але! Больница? Казаков беспокоит...

Катя металась. Я сделал компресс из полотенца ей на лоб. Она открыла глаза, потерлась об мою руку щекой:

— Не уходи...

Вдруг ее стало тошнить. Я обождал, пока кончится приступ, вытер ей подбородок и взбил подушку, думая, зачем девочке понадобилось лезть на дерево, да еще среди ночи. Детский лунатизм? В этом поступке было нечто сложное, необъяснимое. Вспомнил наш с ней разговор на лодке, какая-то связь тут была. Решила перебить боязнь перед темнотой? Эх, надо было дать ей затрещину...

Я сел на табурет, тупо уставясь в угол. С кровати доносилось прерывистое дыхание. Старик бубнил неприятным голосом:

— Але, бо...

Окна бледнели. Через открытую дверь было слышно птичье щебетание. Николай Иванович прошел мимо меня, постоял у изголовья кровати.

— Что? — спросил я.

— Шофера долго искали.

Он потоптался, вышел во двор и загредел подоитьником. Из дверей текла пронизывающая сырость. Я выскочил на крыльцо. За кустами двигалась тонкая мачта:

по каналу шлепал теплоходнишко местной линии. Ворчал дизель. Белый топовый огонь мелькнул на повороте, и все стихло. Николай Иванович вернулся с пастбища. Сапоги у него были мокрые от росы. Он отрешенно слонялся по двору, поглядывая на пустынную дорогу.

Наконец показалась долгожданная машина, мягко остановилась за воротами. Из нее вышла белокурая женщина с саквояжем. Старик повел ее в дом. Я решил не ходить туда. Шофер остучал ногой скаты и направился ко мне.

— Ну дорога, чуть шею не сломал. В самый сон подняли. Работа чертова...

— Ладно, выспишься, когда приедешь, чучело, — сказал я.

Он оторопело посмотрел на меня, ничего не сказал. Под глазами у него висели мешки, будто с хорошего перепоя.

Скоро докторша вышла. Я бросился к ней:

— Что с Катей?

— Трудно сказать, молодой человек. Меня беспокоит гематома на левом виске. Будем госпитализировать.

Николай Иванович вынес девочку, завернутую в полшубок. Я принял ее из его рук. Старик хотел ехать, но я отговорил:

— Вам за коровой нужно глядеть. Я позвоню.

Он дал свой телефон и адрес сына, чтобы я отправил телеграмму.

Мы сели в машину. Я держал Катю на руках. Шофер ехал осторожно, зря я подумал о нем плохо.

Городок был патриархальный. Тут существовал свой Апраксин двор: ряд каменных лавок с толстыми стенами. Среди булыжников выпирала трава. Жизнь текла тихо. Двухэтажные домики заросли сиренью. На ска-

мейках грелись старухи. Дети бегали, где хотели, никто их не караулил.

Прямо из больницы я зашел на почту, отбил «молнию» сыну Николаю Ивановича. Потом позвонил по трехзначному номеру на кордон, сказал старику, что доехали благополучно. Мне показалось, что он заплакал в трубку. Раскис дед.

— Да вы не волнуйтесь, — бодро сказал я. — Все будет хорошо! На завтра профессора вызвали. Ей-богу, главврач говорила...

Кажется, он поверил.

Я вышел с почтамта и направился к реке. На душе было скверно. По воде шныряли катера и моторки. Рыбаки торчали у моста. В жирной грязи под обрывом копошились пацаны. Лепили на ноги ботсы и наколенники.

Я лег в жесткий бурьян. Полынь осыпала желтую пудру. Меня сморил горький сон.

Очнулся я от чужого дыхания. Открыл глаза и увидел над собой морду лошади. Я замахнулся. Лошадь испуганно мотнула башкой и, тяжело подпрыгивая, ускакала к дороге.

Ветер дул с озера. Солнце скрылось за синей тучей. В легкой куртке прохватывало. Было неуютно, и я подумал, что плохо человеку, у которого нет дома, нет родных, жены, детей. Шум ветра вызывал тоску.

Я пошел на площадь, где останавливались рейсовые автобусы. Огромный «Икарус» стоял на остановке. Окна салона были занавешены розовыми шторками. На скамейке отдыхал водитель. Его большая плешь светилась сквозь капроновую шляпу.

Я хотел взять билет на «экспресс», но передумал и заглянул в столовую. Готовили тут отвратительно. В супе плавали переваренные рыбы кости. Гуляш с подливкой состоял из скользких кусков сала. Я с трудом

проглотил этот гнусный обед. По залу бегали бездомные собаки, никто их не выгонял.

Я вышел на улицу, не зная, куда приклонить голову. Ночевать было негде. Здесь была гостиница, но паспорта у меня не было.

Я неприкаянно ходил по городу, обошел главную улицу. На рекламном щите висела афиша. В клубе судоремонтного завода демонстрировался фильм «Андрей Рублев». Я взял билет на девять тридцать, хотя смотрел эту картину в Ленинграде. Особенно меня поразило, как тиуны раскачивают скомороха и бьют его башкой об дерево. Еще там есть момент, где строителям храма выкалывают глаза. Прямо жуть брала, до чего естественный кадр. Было над чем размыслить. Монастырский двор с дровами тоже был снят здорово.

В зале было человек десять молодежи и три супружеские пары. Посреди сеанса они встали и ушли. Что-то им не понравилось в фильме. Пацаны сидели до конца и гоготали, когда показывали ночь на Ивана Купалу.

Я вышел. На улице свистел ветер. Деревья были с каким-то странным гулом. Потом я понял: они были обрезаны наполовину. Ветер не гнул их, а пролетал, как в столбах.

Я пошел к больнице, там горел свет. Дверь была на запоре. Я постучал. Вышла сердитая санитарка и осведомилась, какого беса мне надо. Я сказал. Тетя вытолкала меня могучим плечом и заперла дверь.

— Завтра являйтесь.

Она была права, — что я мог сделать?

Направился на автобусную станцию. В зале ожидания сидели цыганки и лузгали семечки. Обе были беременные. Сетки с батонами валялись прямо на грязном полу. Два цыганенка бегали по диванам. Одного я смахнул и лег, поджав ноги. В короткой куртке лежать было прохладно, ноги стыли.

Пришел автобус. Цыганки, гортанно крича на своих смышленных цыганят, вышли, оставив двери открытыми. Я встал, закрыл дверь и снова лег.

Я еле задремал под утро. В семь тридцать прибыли сразу три автобуса. Толпа пассажиров ввалилась в зал. Пришлось встать, чтобы освободить место женщинам с детьми.

На улице было мрачно и холодно. Я пошел к колонке и умылся. Магазины здесь открывались в восемь. Я купил две городские булочки, лимонад и позавтракал на скамейке. У меня не было расчески, чтобы причесаться. В таком виде появляться в больнице не стоило. Дождался открытия парикмахерской. Пышущая здоровьем парикмахерша брезгливо обернула меня простыней и включила машинку. Я был первый клиент. Стригла она целых полчаса, переговариваясь с заведующей, которая сидела в подсобном помещении. Они перемывали косточки какой-то Марье Ивановне. Цирюльня была первоклассная: с феном, двумя зеркалами, фаянсовыми ручкой и ножницами.

Мастеру никак не удавалось пригладить мою шею. Намочила волосы и минуты две дергала их расческой. Я терпеливо сносил капризы парикмахерши. Потом она стала брить, грубо шатая мою голову. Я еле дотерпел до конца процедуры и дал два рубля без сдачи.

Ровно в десять я появился под окнами больницы. Меня встретила вчерашняя тетя в халате с ржавыми пятнами на воротнике. Не узнала меня. Я спросил про Катю.

Санитарка обратилась к медсестре, писавшей в казенном журнале. У медсестры была накрахмаленная кофточка с вышитым крестом.

— Вы кто будете?

Я объяснил. Девушка подлинула журнал.

— Температура тридцать девять и девять. В созна-

ние не приходила. Впуск посторонних запрещен. У постели дежурит мать, приехала два часа назад...

Я не стал настаивать, повернулся и пошел прочь.

Что ж, мать приехала — моя миссия окончена.

Но я не находил себе места. Было холодно. Снова поплелся на обрыдлый вокзал. Сидел там, тупо разглядывая приезжих. У них были свои дела. Пришла уборщица, выгнала всех на улицу и стала выметать подсолнечную шелуху после цыганок.

Я обошел старую полуразрушенную крепость. Она реставрировалась. Одна башня была восстановлена, три другие стояли в лесах. Дорожка из битого кирпича была усыпана бумагой от завтраков, окурками, яичной скорлупой.

Я пошел к реке. Ветер гнал волны из озера. Под быками моста крутились водовороты. Машины шли поверху, надсадно гудя на подъеме. К мосту лепились столбики, выкрашенные известкой. Рваные тучи летели над открытой местностью. Стал накрапывать дождь.

Я пошел на почту и позвонил на кордон. Старик был дома, ждал звонка. Я сообщил, что приехала Катина мать, беспокоиться ему теперь нечего. Он обрадовался и сказал, что привезет мои вещи завтра, если я того желаю. Мне было все равно.

Я заглянул в знакомую харчевню и заказал крестьянские щи и кашу с молоком. Щи были свежие, не в пример вчерашнему супу. Собаки глядели, как я ем.

Агроном из прибрежного колхоза хлебал селянку, разглаживая усы после каждой ложки. Он сидел в плаще, фетровая шляпа лежала на стуле. Я согрелся, не хотелось уходить из помещения. У раздаточного окна скучала дородная повариха, перерезанная пополам лифчиком. Халат у нее был надет на голое тело. Дождь брызгал в окна. В столовую ввалилась толпа судоремонтников. У них был обед. Стряпуха проворно зашеве-

лилась у кастрюль. Работяги быстро поели и ушли. Я все сидел.

Еле дождавшись вечера, отправился в больницу.

Меня встретила другая дежурная. Ей было лет пятьдесят. На голове — докторский колпак. От сознания исполняемого долга она была очень величественна. Из ее слов я понял, что состояние Кати ухудшилось.

— Никого посторонних, — отрезала медсестра.

Кассирша на вокзале выглянула из амбразуры и подозрительно на меня посмотрела. Я сел на холодную скамью. Две бабы в целлофановых накидках взяли билеты до лесхоза. Потом явился тракторист с мешком, набитым каким-то железом. Я думал, плиты треснут, так он грохнул им об пол. Мне не хотелось разговаривать, парень пристал как банный лист. Он вез дефицитные запчасти, которыми разжился на складе.

Подождал автобус. Я помог трактористу закинуть детали под сиденье. Он долго благодарил меня, приглашал в гости. Я обещал приехать.

Всю ночь дождь полосовал землю. Я глаз не сомкнул до утра, пока не пришли автобусы. На площади было целое море воды. По лужам бродили грачи.

Я направился в спасительную столовую и выпил три стакана чая с пирожками. Внутри у меня все отсырело. Дрожал, как бездомная собака. Выглянуло солнце.

По дороге в больницу я заглянул на местный рынок купить клубники для Кати. Женщины торговали молодой картошкой, пучками редиса и зеленого лука. Ягод никаких не было.

Под крайним навесом стоял фанерный ящик с кроликами. Они были очень крупные. Какой-то красномордый мужик вынимал их оттуда по одному на прилавок и рассматривал: самка или самец. Делал он это как-то по-варварски: грубо валил на спину, копался. Хозяйка кролей поджала губы. Видно, ей не нравился этот чертов покупатель.

В моей душе было смутно и нехорошо. Будто я не-
поправимо провинился перед чем-то чистым и высоким
и этот тупой мужик с красной рожей копается во мне,
ничего чего-то.

Я повернулся и пошел на выход. В воротах застряла
лошадь с телегой, груженной мешками комбикорма. Воз-
чик хлестнул по крупу мокрой вожжей. Я подождал,
пока они проедут. Лошадь была та самая, что разбу-
дила меня своим дыханием, когда я спал в траве: белая
звездочка на лбу...

Я немного повеселел и пошел по дороге, согреваясь
под лучами утреннего солнца. Промытая ливнем листва
тополей блестела. Позади сигналила машина. Я сошел
на обочину. Машина вдруг затормозила, распахнулась
дверца. Знакомый голос позвал:

— Сергей!

Увидел улыбающуюся Людмилу. У меня будто гора
с плеч свалилась.

— Какими судьбами?

— Мы к Толикину двоюродному брату заезжали, да
тот уехал к дочери в Киргизию. Решили вернуться на
мыс. А вы куда?

Я поведал, что случилось за их отсутствие.

Люся захохла, засуетилась:

— Пойдемте, пойдемте, меня пропустят.

Она достала сумочку и выскочила из машины. Ана-
толий поехал за нами следом. Люся шагала впереди.
Я видел ее тонкую загорелую шею, открытые позвонки.
От ее светлого платья пахло хорошими духами.

У дверей больницы она оглянулась, помахала сум-
кой. Я сел на сырую скамью. Анатолий приоткрыл двер-
цу, спустил одну ногу на землю, глядел на меня слезя-
щимися глазами. Без очков он выглядел старше, лицо
усталое, словно что-то изменилось за это время.

— Она что, с дерева свалилась?

Я кивнул.

— В прошлом году мне вот тоже не повезло: блок сорвался на испытательном стенде...

Анатолий наклонил голову и показал заметный валик шрама на темени:

— Лежал в Военно-медицинской академии. Доктор запретил ходить. Я чувствовал себя вполне нормально, думал — ерунда. В окно вылез в сад погулять. Оттуда привели под руки. Короче, ослеп... Вот как бывает...

Он застенчиво улыбнулся и продолжил:

— Зрение восстановилось, но с тех пор мучает светобоязнь. Очки разбились...

Анатолий вытащил платок, потер глаза.

— Здесь недалеко магазин галантерей. Купите, раз надо, — сказал я.

— Пожалуй, схожу.

Он вылез из машины, щелкнул дверцей и пошел к площади.

Все было не так просто, как казалось.

В канаве бултыхались гуси. Их радостное гоготание доходило до меня как сквозь сон. На втором этаже в открытых окнах мелькали тени. Я начал беспокоиться, что Людмила долго не выходит. Вдруг она высунулась в окно. Я едва узнал ее в белом халате. Позади стояла бледная женщина с испуганным лицом. Понял, что это Катина мать.

— Ну что? — крикнул я с нетерпением.


Люся всплеснула руками:

— Право, вы мальчишка. Пока все хорошо. Ночью кризис был. Девочка выдержала. Первым делом о вас спросила, когда я пришла... Любовь Герасимовна хочет что-то сказать.

Людмила подвинулась. Катина мать долго смотрела на меня, потом сказала:

— Не знала, что вы сидите здесь два дня. О господи... — По ее лицу потекли жидкие слезы.

Длинная летняя рыбалка

н кашлял, бухая на весь лес изношенными легкими. Ветер гудел в вершинах, с веток летела водяная пыль. Небо светлело, различались отдельные деревья. От бутového проселка болели ноги. Мы шли уже часа два.

Старик хромал. Из его слов я узнал, что он полковник в отставке, был ранен в обе ноги под Воронежем...

Он разогрелся, стянул с себя шарф. Шея у него была морщинистая, как у грифа. Снял армейскую фуражку, обнажив красную полосу на лысине, и смачно крикнул: — К «Светлане» пойдём!

Мне не хотелось идти к зверосовхозу: река там слишком быстрая. Но я, ради компании, подчинился и подумал, что полковник — гордый, спесивый старик, избалованный властью.

Ветер постепенно стихал. Мы свернули в мокрый лес, усеянный черными шишками, и вышли к реке. Берег был крутой. Река мчалась, будто падала с гор, кипела от стремительного течения: на дне лежали валуны. У самой воды были воткнуты прутья для допных удочек, забытых рыбаками. Место было обжитое, но мне не нравилось, что у берега много травы, она мешает выводить рыбу.

Полковник стал налаживать удочку. Взошло солнце, чайки в вышине окрасились в розовый цвет.

Я нашел чистый заливчик, срезал две рогульки и вылез на высокий берег, чтобы хорошенько размахнуться, — внизу мешали кусты ивняка. Кидать донку нужно спокойно, иначе сделаешь «бороду» на катушке.

С замиранием сердца я забросил спиннинг на сколько хватило силы. Груз упал далеко в воду. Я придержал леску, защелкнул замок и, положив спиннинг на рогульку, прицепил бельевой прищепкой звонок.

Солнце быстро поднималось. Движение воздуха прекратилось. Летящие птицы отражались на поверхности воды.

Я ходил с поплавочной удочкой, но безуспешно. Сытая рыба только баловалась с приманкой. Одну плотвичку поймал за брюхо.

Зазвенел колокольчик. Я бросил удочку, со всех ног побежал к спиннингу. Катушка еле проворачивалась. Я боялся, что свинец застрянет в камнях и рыба освободится, тянул слишком быстро. Леска звенела, сверкая на солнце. Из воды показались голые крючки и груз, черный от ила...

Полковник махал удилищем. Я пошел к нему.

— Леща прозевали? — поинтересовался он, презрительно скривив рот.

И по его лицу было видно, что он доволен моим несчастьем. Я рассказал, как было тяжело оторвать рыбу ото дна, вывести. Он ухмыльнулся и сделал заключение:

— Путного рыбака из вас не получится. Кто так тянет? У леща губа слабая... Пора завтракать.

Он вытащил свою удочку, смотал ее и, вцепившись длинными руками в кусты, полез на обрыв, осыпая глину. Я вскарабкался за ним и упал на расстеленный плащ. Полковник отвинтил колпак с термоса, пошатал пробку и налил в крышку коричневатой жидкости. Я хотел отказаться от выпивки, но он прикрикнул:

— Давайте, давайте, не ломайтесь. Тщедушная порция не повредит.

Мы по очереди выпили. Коньяк был разбавлен сухим вином. Старик вытер рукой тонкие губы, начал закусывать. После второго захода глаза у него запали, ушли под череп.

Было божественно тихо. Молчаливые чайки садились посредине этой сумасшедшей реки, и течение несло их на пороги. Потом птицы возвращались на крыльях.

— Когда много выпьешь, мысли гибнут, как рыбы, ударяясь о плотину, — сказал полковник, завинчивая термос.

Эта фраза меня тронула. Я понял, что бывший гвардеец не такой уж сухарь и педант, как казалось вначале. Он улегся в жесткой траве.

— Разбудите через пару часиков.

— Спите, — сказал я и пошел к воде.

Местность была в буграх и ямах. Я смотрел под ноги, чтобы не пропороть сапоги колючей проволокой. Берег был начинен железом. Старики говорили, что здесь шли ожесточенные бои: наши части держали оборону. Я плохо представлял, что тут делалось во время войны, но железа было уйма. К реке стекали ручьи с красной водой, вымывая из глины разбитые каски, ржавые пуле-метные ленты.

Рыба держалась в устьях этих ручейков, но рыбаки почему-то не любили здесь ловить. Может быть, может быть...

Сильно парило. Я снял рубашку. Комары облепили меня и зло тянули кровь, разбухали, будто проглотили бруснику.

Брала мелочь. Я видел плавники огромных рыббин, которые шли одиночками, как субмарины под перископами. Я совал им под нос крючки. Толку не было. От укусов комарья тело мое покрылось белыми буграми, как от новокаиновой блокады. Я не выдержал, побежал к старику.

Он уже не спал, зевал, обнажая бледные десны. Увидев меня, он повеселел, обрадовался:

— Легки на помине. Пойдемте на пороги харнуса ловить...

— Там запрещено, егеря удочки ломают.

— Не ломают, — заупрямился полковник. — Там кто-то ловит.

Он приставил к глазам крючковатую руку, посмотрел вдаль. Мне тоже захотелось поймать хариуса.

Идти недалеко. Мы собрались быстренько, спустились на дно оврага и шли по нему минут пятнадцать, потом вылезли, пересекли ржаное поле, чтобы срезать изгиб реки. Из-за кустарника самой реки не было видно, но шум воды на порогах хорошо слышался. Над обрывом лежали два егеря. Я остановился. Полковник толкнул меня в бок:

— Главное, не дрейфить.

Старший егерь встал и направился к нам.

— Здесь заказник. Вы что, не видите?

Второй егерь тоже поднялся.

— Здесь заказник, — как попугай, повторил он и хмуρο задел плечом полковника.

В воде стоял пожилой спиннингист в желтых японских сапогах. Снаряжение у него тоже было заграничное: шведская катушка, блесна.

Полковник ткнул пальцем вниз:

— Он что, особенный?

— У него — лицензия. Он из управления, — пояснил егерь.

— Хрен с ним, что он из управления! Закон один.

— Хотите иметь неприятности? — пригрозил старший егерь.

Полковник рассвирепел:

— Уберите руки! Потакаете начальству. Портки казенные протираете зря.

Егеря не знали, как действовать. Внизу было начальство. Спиннингист услышал крики, повернул седую голову и брезгливо махнул рукой:

— Константин Иванович, пустите. . .

— Псарь не милует, а царь жалует, — съязвил полковник.

Егеря отошли на прежнее место, пошептались и легли в траву.

Мы спустились. Проходя мимо спиннингиста, полковник громко сказал:

— Постыдились бы разбращать подчиненных!

Шея у спиннингиста побагровела.

Мы устроились в стороне, где было тише и харнусы стояли за камнями.

— Ладно, хоть разрешил, зря вы его... — упрекнул я полковника.

— Вы что, ослепли? Он лосося ловит. Дельцы, для них никакого запрета не существует, так, что ли? — Старик зло сплюнул в береговую пену и долго не мог успокоиться. Руки у него тряслись.

В радуге брызг сверкало солнце. Лески мы отпускали метров по двадцать. Поплавки, ныряя в суводи, мчались к порогам. Старик вытащил трех недомерков. Я тоже подсек. Рыба была сильная. Я снял ее с крючка, она, как пружина, разжимала мне пальцы.

Видно, мы испортили настроенье спиннингисту. Он смотал снасть и тяжело полез наверх.

Константин Иванович подал ему руку. И они ушли гуськом по троне.

Полковник вдруг попятился, сел на валун. Лицо у него стало отсутствующее. Он поцарапал ногтем накладной карман, вынул капсулу, проглотил таблетку и отрешенно посмотрел на меня. Веки у него дрожали, лицо потекло вниз от боли...

— Что с вами?

— Не обращайтесь внимания. Сейчас пройдет. Посижу. Левая — онемела.

— Сидите, — сказал я.

Солнце зашло за тучку. На обрыве показался человек. Он спустился к нам. У него были длинные волосы и борода, как взятсья.

Он сильно смахивал на сельского батюшку. В трех километрах отсюда была церквушка.

— У вас разрешение? — спросил он.

— Мы браконьеры, — сказал я.
Человек с бородкой усмехнулся.

— Покажите, что выудили.

Я показал.

— Не густо, — закричал святой отец, разматывая удилище. — Буду ловить. Говорят, директор уехал, егеря не придут...

— Ловите, — сказал я.

Из-за поворота показалась лодка. Мужчина греб. На корме сидела женщина и чистила рыбу, выбрасывая внутренности в течение. За лодкой, как за пароходом, летели чайки. Они стремительно падали вниз, выхватывали из воды рыбы пузыри и, опустив лапы, взлетали и вертели головами, заглатывая пищу.

Я смотрел, как поп ловил. Подул ветерок. От реки тянуло прохладой. Полковник поднялся, засучил рукав и пошевелил запястье.

— Отпустило.

Мы снова стали ловить. Никто нас не беспокоил. Время двигалось к вечеру. Стали попадаться крупные ельцы, но надо было позаботиться о ночлеге. Остаться здесь было нельзя. Утром могли нагряться егеря.

— Пойдемте к парому. На той стороне шалаш, — предложил полковник.

Я взял его мешок. Не хотелось переезжать, но я не мог оставить старпка. Вид у него был ни к черту.

— Счастливо оставаться! — крикнул я священнику.

Он ловил рыбу и не ответил. Может, это был и не поп.

За рекой виднелись богатые дачи. Паром собирался отчалить. На нем стояла «Волга», серая от пыли. Шофер приоткрыл дверцу, спустив ногу на палубу, разговаривал с перевозчиком.

Я посадил полковника на картофельный ящик около перил. Паромщик завел движок, трос стал наворачиваться на барабан, постепенно вытягиваясь из воды. Те-

чение сильно давило на паром: он шел под углом. За переезд я дал паромщику пачку сигарет.

Мы пересекли луг. Трава была скошена. На кустах при дороге висели клочья сена — видно, возы были большие, цеплялись за ветки.

Машина обогнала нас, обдав вонючим первоклассным бензином.

Кто-то подновил шалаш, хвойные лапы были еще свежие.

— Я всегда здесь ночую, — сказал полковник. — Палатку мне тяжело таскать.

На прибитой траве валялись бутылки, обрывки газет. Старик собрал мусор, отнес в яму, потом спросил:

— Ловить будете?

— На сегодня хватит. Эта бы не запарилась. Солить придется.

— Я половлю, — сказал он.

— Попробуйте.

Я взял топорик с металлической рукояткой и направил в ближний лесок.

Полковник спустился к воде и стоял за кустами, накренив корпус, будто ехал на эскалаторе в метро, так казалось, потому что река двигалась. Я боялся, что он упадет в реку, оглянулся раза три на него, пока шел. Сухостоя было много. Я быстро нарубил охапку сучьев и вернулся. Он стоял в том же положении.

— Ну что?

— Ничего.

Он смотал удочку, поднялся ко мне. Вид у него был немного получше. После вчерашнего дождя сучья были сыроваты, плохо загорались. Я долго возился с костром. Старик отобрал у меня спички, вынул из мешка сальный огарок, зажег его, подержал в руках, как держат свечечку за невинно убиенных. Потом поставил его под сучья. Они быстро загорелись.

Солнце зашло. Над дачами стоял нимб огней. Я принес банку воды и повесил ее на шест над костром. Полковник сидел неподвижно, с красным от огня лицом. Я заварил чай.

С коньяком чай был очень крепкий. Я стал рассказывать рыбацкие байки, старался развеселить старика. Он внимательно слушал, потом сказал:

— У вас приятное лицо. Мне было плохо целый день, вы терпели меня...

Я сказал: мол, лезть — сестра лжи. Что-то в этом духе. Он обиделся:

— Ложь всегда вежлива. А я старый грубиян, не так ли? Нервы сдают, — вздохнул полковник и вдруг болезненно поморщился и потрогал рукою грудь, там, где сердце.

Я спросил:

— Опять плохо?

— Ничего. — Он улыбнулся какой-то светлой улыбкой и добавил: — Я ведь тут начинал войну. Сухари солдатские размачивал в этой воде... М-да...

В темноте стучали перепела, от реки поднималась зябкая сырость. Я вытащил из рюкзака фуфайку, надел ее и спросил:

— У вас есть что-нибудь теплое?

— Спальный мешок. В шалаше полно сена. Нам будет хорошо спать.

Он опять улыбнулся. Я сложил оставшиеся дрова на костер, полез в шалаш. Полковник повозился со спальником, и мы легли головами к входу. Багровые отблески от костра освещали высохшие листья шатра. Старик хрипел в длинном мешке. Невидимая река катила воды. Под берегом что-то булькало.

Я лежал и думал, какую поймаю завтра рыбу, она еще не знает, что я завтра ее поймаю. Вскоре я уснул. И мне снилась быстрая река, и по берегу ходил хромым старик и бросал удочку.

Петр и Лиза



Станция лежала в низине. Утром электрички приходили потные от тумана. В тамбуре последнего вагона везли мешки с почтой. Пассажиры наступали на них при входе. Экспедитор, отставной военный с молассановскими усами, ругался.

В тот год лето было знойное, с частыми грозами. Вечерами Петр возвращался из города. В вагон лезли дачники. На передних скамьях сидели студентки, положив на сплпшнеся ноги тетради. Юбки у девушек были крошечные. Студентки жили недалеко от Ленинграда. У их общежития каждое воскресенье стояли курсанты-топографы, задрав головы, и вызывали девчонок на прогулку.

— Позовите Лену.

— Ее нет.

— Тогда — Галю.

— А Соню не нужно?

В распахнутых окнах красовались девушки. И нельвя было решить, какая из них лучше.

Сначала она ему не понравилась. У нее было какое-то опрокинутое лицо, руки придерживала на животе, когда шла. Рот большой.

Однажды в тамбуре она лизала длинный леденец, стыдливо ворочая глазами. Он нечаянно коснулся ее прохладного бедра. Хотел заговорить. Но электричка остановилась, и она вышла вместе со своими подругами. Он тоже вылез, пошел вслед за ними. Она оглянулась, укоризненно показала язык.

Перед рейсом его отпустили на два дня. Он приехал в полдень, сел на скамью около станции. Электрички проносились часто. По краю полотна тянулись высокие заросли акаций, вагонов было не видно, только по верху тяжелой непроницаемой зелени двигались крыши.

Рядом стояла чугунная колонка. Прохожие останавливались, давили на рычаг. Струя со звоном лезла в решетчатую дыру, внутрь колодца. Люди подставляли ладони и пили. Подходил поезд, дачники спешили, поднимались на платформу.

Девушки приехали раньше обычного, окружили колонку, стали брызгаться и пить. Она тоже лизнула толстую струю. Он видел ее прохладные голубые зубы, тонкую просвечивающую рубашку с каплями влаги на отворотах.

— Иванова! — позвали подруги.

Она оглянулась, по-куриному повернув шею.

Он понял, что она что-то значит для него, но боялся подойти. Пошел далеко позади, чтобы девушка не смутилась. И в этот раз он ничего не успел сказать, но она его заметила и улыбнулась странной улыбкой.

На другой день она приехала поздно. Он истомился ее отсутствием. Было уже темно. Ему хотелось видеть ее неправильное лицо. Он загородил дорогу и вытянул руки, как бы желая поймать Иванову и при свете фонаря рассмотреть хорошенько.

От неожиданности она отшатнулась, неловко ударила его по руке сумкой.

— Делать нечего? Постыдились бы... — и быстро прошла мимо в мягких бесшумных туфлях.

Он долго стоял в темноте, проклиная себя за глупую выходку. С деревьев сыпались какие-то зерна. Дул ветер, надвигалась гроза.

Пачкая брюки о шершавый асфальт, он вспрыгнул на платформу и прошел под навес, где сидела женщина с маленьким сыном. Ребенок испуганно плакал, мать держала его в коленях, гладила по голове.

Воздух был сильно наэлектризован. Тучу опоясывали белые шнуры молний. Хлынул дождь, брызги полетели под навес. Спрятанный в материнское тепло, ребенок притих. Женщина приговаривала:

— Господи, ливень какой, миленький мой...

В ее голосе слышались щемящие нотки. Петру хотелось приткнуться к этой чужой женщине, чтобы она погладила его и что-нибудь сказала.

Наконец подошла электричка, исхлестанная дождем. Он помог женщине войти в вагон и поехал с ними. Ночь провел на вокзале, глядя на огромные медленные часы.

Утро наступило хорошее. Он снова увидел ее лицо, выпавшее, свежее в солнечной зыби. Она была в той же мужской рубашечке с закатанными рукавами, высоко застегнутым воротником и скучной юбке, которая старила ее походку.

Валила толпа. Расталкивая людей, он побежал, но не смог пробиться к стеклянным воротам. Дорогу преградил пионерский отряд, отъезжающий в лагерь. Барабанщики стучали марш. Дети двигались низкой колонной. По бокам кричали мамы:

— Пропустите детей. Что вы лезете...

От бессонной ночи им овладело безразличие. Он вышел на площадь, прислонился к стенке метро и глядел на бегающих людей. Все куда-то спешили.

Он не был влюблен, так ему казалось. В рейсе вспомнил ее раза два, когда томила тоска по дому.

В начале октября он вернулся из плавания. В городе стояла сухая ветреная погода. Листья с гогомом носились по асфальту.

Он поехал на Финляндский вокзал. Ничего не изменилось. У метро стояло человек десять: ели пирожки и мороженое. На лестнице мотыльщик, почерневший за лето, предлагал свой товар редким рыболовам:

— Мотыль на бровях ходит. Купи, а то уйду...

Действительно, мотыль у него был классный. Петр стоял рядом и сверху глядел на головы суетившихся людей. От мотыльщика приятно пахло болотом.

Народу в вагон набилось много: ехали с работы. Тогда была мода на болоньи, все были в плащах, мужчи-

ны и женщины. Люди шаркали стеклянной тканью, как жесткокрылые насекомые в тесной коробке.

Электричка на ходу лязгала автосцепкой, тяжело прилипала к рельсам на коротких остановках.

Он машинально вылез на знакомую платформу. Прошел мимо базара. На бугре чернела колонка, теперь из нее никто не пил. Только какая-то баба в ватнике поло-скала белье негнущимися руками, сердито посмотрела на него. У шлагбаума сигналила машина с курсантами, ехавшими на тактические занятия.

Он увидел желтый дом с занавешенными окнами. Сосны сыпали иглы. От синих холодных сумерек в палисаднике было пустынно.

На крыльце стояла рослая девушка в меховом манто, сделанном из многочисленных шкурок убитых животных. Она оглядела его нерешительную фигуру и спросила:

— Вам кого?

— Иванову.

Девушка объяснила, что в общежитии пять Ивановых. Он не знал ее имени, стеснясь, пояснил, какие у нее волосы, и, положив на живот руки, добавил:

— Она вот так ходит...

Девушка дебильно засмеялась:

— Ах, это Вера... Она вышла замуж за спорцмена и уехала в Еревань.

Девушка так и произнесла: «за спорцмена» и «Еревань». Ему стало скучно стоять на грязном песке.

— Сходите к коменданту. У нее есть адрес, если вам нужно, — посоветовала девушка в манто и зевнула. — Впрочем, я позову.

Она ушла, оглядываясь белым лицом. На крыльце остался стойкий запах дорогой помады и опрятного меха. Петр пошел по темной аллее.

Бабы у колонки уже не было. Струя брызгала на решетку. Он поправил рычаг, чтобы вода не утекала зря.

Домой ехать не хотелось. Никто его там не ждал: мать жила в Череповце у парализованной сестры.

Он вернулся в город.

Ветер надул дождя. Пылали рекламы. На асфальте лежали листья, раздавленные колесами машин.

Он бесцельно зашел в бар. В зале играла музыка. Шумная компания за сдвинутыми столами лакала коктейли.

Петр сел рядом с юной девчонкой. Волосы ее были сожжены — видно, перестаралась.

В сумраке танцевали пары. Косматый хипарь с медным крестом на шее приседал и рулил руками. С ним отплясывала короткая пухлая девица.

Скоро Петр устал глядеть на их кривляние, хотелось уехать на теплоход, лечь в каюте на прохладную койку, расположенную у самой ватерлинии. Но он знал, что лучше сидеть здесь, терпеть бессмысленный гул, только не оставаться наедине с собой.

Девчушка мешала соломинкой зелье в бокале и пугливо смотрела по сторонам. Наконец она не выдержала молчания и предложила:

— Пойдем спляшем. И не думай ты про нее...

— Ты что, цыганка? — удивился Петр.

Блондинка засмеялась.

— По тебе видно. Не грусти. Меня тоже парень бросил. Не стоит вешать носа из-за пустяка. Меня зовут Луиза. Пойдем.

— Не могу. Экзема мучает.

— Ох и врать ты... — Она снова закатилась нервным смехом. Жидкие кудряшки запрыгали. Видно, ей самой несладко было.

— Не могу так делать ногами, — опять отмахнулся Петр.

— Ты что, с луны свалился? Сейчас все так пашут, Петр покачал головой.

— Ну, как хочешь. — Луиза надула губы и отвернулась. Вентилятор с потолка раздувал на затылке ее детские волосы, испорченные химней.

В баре прибавилось молодежи. Вышли три усатых лабуха в верблюжьих пиджаках и сыграли блюз Эллингтона, потом исполнили «Коробочку». Началось настоящее веселье.

Петр решил уйти, чтобы не мешать Луизе. Еще есть время, найдет партнеров для танцев. Он даже не попрощался с ней. Она сидела в полутьме и зорко смотрела на каких-то «младенцев».

Швейцару он дал рубль. Швейцар поправил свой генеральский картуз и сипло сказал:

— Заходите чаще. Милости просим.

На улице лил дождь. Народ попрятался. По проспекту со снаряженным воем жали троллейбусы. Петр поднял ворот плаща и двинул к стоянке такси.

В субботу утром он прямо из порта поехал на вокзал. Народ по-прежнему суетливо рыскал по магазинам. У входа в метро, как кафельница перед храмом, дымилась урна.

Электричка стояла у платформы. В тамбуре были навалены рюкзаки, на мешках восседали туристы в штормовках и громко разговаривали о своих делах. Петр покурил за компанию, размышляя, что, если достать адрес Ивановой, можно написать письмо или двинуть в Ереван... Конечно, он так не сделает никогда, это были лишь неосуществимые мечты.

Под полом вагона гулко застучал компрессор. Поезд тронулся. За потным окном замелькал серый пригород. День был пасмурный. В домах светились огни.

При виде знакомой станции с облетевшими акациями у него заняло сердце. Он вышел, не зная, зачем приехал.

На местном базарике продавали картошку, палки укропа и холодные яблоки.

Петр любил базары, потолкался между рядами. Какая-то хитрая тетка расхваливала товар:

— Каротелька для рахитиков и заслуженных пенсионеров, сладкая каротель...

Покупателей было не густо.

И вдруг он увидел студентку в меховом манто, словно она караулила его, поджидала. Надглазья у нее были размалеваны на совесть, на губах играла изящная улыбка.

Она приветливо помахала маленькой, затянутой в перчатку рукой, поспешно подошла и спросила:

— Что ж не дождались тогда?

— Теперь это не имеет значения, раз она вышла замуж... — сказал Петр и зарылся острыми туфлями в песок.

Студентка понимающе улыбнулась.

— Догадываюсь... Между прочим, Вера придет после праздников на учебу, если вас это интересует... — Она проследила, какое впечатление произвели ее слова, и процитировала: — Надежды юношей питают... Верно я говорю?

Петр покраснел, будто его уличили в чем-то постыдном. Студентка засмеялась, довольная догадкой. Лицо ее лоснилось от крема.

Стал накрапывать въедливый дождик.

— Пойдемте, а то вымокнем, — сказала она и автоматически улыбнулась. — Возьмите меня под руку, я не кусаюсь...

Петр послушно взял ее локоть, и они двинулись с базара мимо торговых, загороженных лотками.

До желтого дома было недалеко. По переулку энергично топал курсант с начищенными до блеска пуговицами шинели. Подковы яловых сапог щелкали по гравии. Видно, он несся в увольнение. Потом все стихло, и стало слышно шуршание дождя в соснах.

Девушка остановилась у крыльца, поднялась на ступень и заправила сырые волосы под косынку.

— Я живу в угловой комнате. Спросите Нинель Степанову... Я уточню в деканате, когда Вера прибудет.

— Буду очень благодарен, — сказал Петр.

Степанова грациозно кивнула и скрылась в длинном коридоре. Петр постоял, глядя на окна, повернулся и медленно пошел к станции. Дорога была завалена толстым слоем листвы. По ней приятно было идти. Листья источали миндальную горечь. На обнаженных ветвях висели прозрачные капли. Платформа была холодная и пустая.

Теплоход встал на ремонт. Половина команды списалась в отпуска. Петр с нетерпением ожидал окончания праздников, работал как вол, не вылезая из дизельного отделения, чтобы забыться, не думать ни о чем.

После ноябрьских торжеств, в первый свободный день, Петр наведался к общежитию.

Было еще светло. Он бродил в сосняке, разгребая палкой рыжую свалевшуюся хвою, растопыренные шишки. Потом купил мягкий батон и стал кормить замороженных несладкой жизнью железнодорожных воробьев и сам съел изрядный кусок булки.

В шесть часов студентки появились из города. Петр сел на холодную скамью, разглядывая их молодые беспощадные лица, надеясь узнать среди них Степанову. Но ее почему-то не было, а в общежитие он не хотел идти.

Он промерз на ветру, пока не дождался ее на остановке.

В дополнение к блестящему манто на ее голове красовалась шляпа из нутрии, довольно безвкусная. Хотелось спросить, где она достает меха.

Играя глазами, как в прошлый раз, Нинель сказала, что Вера не приедет, ждать нечего.

— Такие дела,— закончила она и кокетливо поправила шляпу.— Плюньте. Разве мало других девчат. . .

Петр нахмурился и с неожиданной твердостью сказал:

— Она приедет, вот увидите.

Нинель презрительно усмехнулась:

— Это безрассудно. Она замужем, как не понять? Право, мне вас жаль.— Степанова резко повернулась и ушла, стуча тяжелыми каблуками.

Петр каждый выходной методично появлялся у желтого дома. Девушки с любопытством оглядывались на его маячившую под окнами фигуру.

Однажды три студентки остановились на приличном расстоянии, и самая бойкая зазвонно пропела:

— Мальчик, зря стараешься: улетела пташка в теплые края. Пойдем с нами. . .

Он побледнел и, не долго думая, крикнул в ответ:

— Зато вороны никуда не улетают.

Девушки поняли, что лучше не связываться с придурком, и с тех пор обходили его стороной. Только Нинель, пробегая мимо с улыбкой, оскорбленно твердила:

— Преклоняюсь перед завидным упорством. Но, право, мне вас жаль. . .

Близилась весна. Ремонт подходил к концу. До отхода остались считанные дни. Петр решил в последний раз съездить к проклятой колонке, смутно на что-то надеясь. Тянуло его как магнитом.

В этот день ярко сияло солнце, с крыш текло. Перегретые голуби путались под ногами, раздували зобы. Коричневый от веснушек пацан хлебал эскимо. Петр подмигнул мальчишке. Тот улыбнулся измазанным ртом.

Вагон был почти пустой. На солнечной стороне разговаривали две женщины.

Скоро электричка тронулась, с голодным зазыванием набрала темп. Мелькали знакомые холмы. По краю полотна тянулся ручей, засыпанный снегом ровень с берегами, с желтыми пятнами кое-где выступившей воды.

Приближалась станция. Уже была видна котельная с тонкой, как спичка, трубой. На плацу занимались строевой подготовкой топографы. И Петр подумал, что в рейсе все забудется, нужно наполнить жизнь другим содержанием: вот как эти солдаты, заняться спортом, учебой, книгами. Да и мало ли интересных вещей на земле...

Зашипели тормоза, и двери распались. Петр шагнул на платформу. Придвинув к стеклу безбровые лица, женщины строго смотрели на него из вагонного окна. Электричка умчалась.

Базар был закрыт. Три собаки, заросшие зимней шерстью, гуськом трусили по накатанной дороге. В кустах хрустально позванивала синица. Какая-то девушка из общежития пила из колонки — через плечо свисала сумка.

Петр приближался к ледяной горке. Девчонка отпустила рычаг и утерла мокрый подбородок. На ней было пледовое пальтишко, шапочка из искусственного меха. Лицо светилось от чистоты, щеки были тугие, — казалось, ей трудно раздвигать губы в улыбке.

Петр остановился как вкопанный.

— Я знал, что ты появишься рано или поздно. Мне сказали: ты вышла замуж, уехала... Но я не верил... — Голос его задрожал.

Она смутилась. Кровь прилила к ее лицу.

— Какая нелепость! — воскликнула она. — Я никуда не уезжала. Просто перебралась в город, к родной тете. В общежитии я никогда не высыпалась...

— Вот как, — удивился Петр. — Значит, меня ввели в заблуждение, Вера?

— Я Лиза.

— Понятно, — горестно вздохнул Петр и вспомнил несчастную девушку из бара: — Луиза, Лизабет...

— Просто Лиза, — поправила она. — Не люблю иностранные переделки.

— Петр. — Он еле выговорил свое грубое неотесанное имя и добавил: — Ты извини, что напугал тебя в тот вечер. Я не хотел...

— Помню. — Лиза засмеялась, оттопырив губки, передразнила: — Пи-т-тер. Я ужасно боялась грозы, бежала как ненормальная. Вдруг ты из темноты... Это было неожиданно так, и я обругала тебя. Всю ночь почти не спала, вздрагивала. И ты исчез...

— Я в плавание уходил, — сказал Петр. — Поэтому меня не было.

— Откуда мне было знать? — Она спохватилась, тряхнула сумкой: — Я сюда за конспектами приезжала часто. Все смотрела тебя. Нет и нет. А сегодня девчонки не хотели отпускать до вечера: «Посиди да посиди...» Но я словно чувствовала...

Она не досказала, что чувствовала, — и так было понятно.

— Подожди, — прохрипел Петр. — Попью...

Чтобы не забрызгаться, он широко расставил ноги, надавил рычаг. Струя ударила в звонкий колодец. Вода была очень холодная, ломила зубы.

— Ну и денек сегодня, обалдеть можно от солнца, — сказал Петр, разогнувшись.

— Я прямо ослепла, — сказала Лиза и снова покраснела до кончиков ушей.

Некоторое время они ошеломленно глядели друг на друга.

По дороге брел старик с котомкой за плечами. Глаза у него слезились от яростного, невыносимого света. Это был мотыльщик. На здешних озерах он добывал крупного мотыля и сильно устал от работы: изрезанное глу-

бокими морщинами лицо его осунулось. Он поглядел на Петра и Лизу, сразу понял все и сказал:

— Какие вы счастливые, дети. — Поклонился им, и рот его невольно расплылся в стариковской улыбке.

— Что он сказал? — спросила Лиза.

— Понятия не имею, — ответил Петр, стараясь не думать, что до отхода в Арктику осталось совсем немного дней.

— Видать, вы оба оглохли друг от друга, — засмеялся старик и медленно пошел, шаркая рыбацкими сапожищами.

Педагогика на тройку



хать на лекции нужно было к одиннадцати, и Александр Васильевич Кожохин не торопился, лежал, прислушиваясь к звукам. Через приоткрытую форточку было слышно, как дворничиха Анастасия спозаранку честит кого-то. Из окна лился фиолетовый сумрак. Светало.

Собака, видно, давно не спала. Царапая сухими когтями паркет, подошла к кровати и фукнула струю горячего воздуха. Александр Васильевич протянул руку и потрепал пса по холке:

— Иди, иди спи, бармалей. Звать-то тебя как? Сейчас нам на орехи будет. Пошел, пошел.

Он оттолкнул ластившегося пса. Тот тяжело вздохнул и лег у батареи. В полумраке его шерсть антрацитово блестя, глаза красновато светились.

Дочь Капитолина уже встала. Из ее комнаты доносилось шуршание синтетки. Потянуло сигаретным дымом. Скоро она прошла умываться.

Когда дочка вернулась, Александр Васильевич был уже на ногах и поливал кактусы теплой водой из гра-

фина, делая непринужденный вид, будто ничего особенного не случилось. Ну что ж, привел приبلудную собаку, отличный пес благородных кровей. Будет членом семьи, так сказать...

Капитолина включила магнитофон — записи были дурные, визгливые — и вышла на порожек, уперев руки в бедра. Посмотрела в угол, где лежал возмутитель спокойствия, и усмехнулась недружелюбно:

— Интересно, отец, откуда ты выкопал этого монстра? Вчера прихожу, чуть в обморок не упала, споткнулась...

Ожидая ответа, она покрутила пояс вокруг тугого платья. Лицо ее нахмурилось, и Кожохин виновато пробормотал в свое оправдание, что так получилось, хотел покормить и выпустить, да потом пожалел. Сам понимал, что поступил дурно, не посоветовался. А с другой стороны, он волен в своих поступках.

— И вообще, не твое дело, — заключил он твердо и стукнул пустым графином, давая понять, что разговор окончен. — Собака останется в доме.

Музыка действовала на нервы. От волнения Александр Васильевич уколол палец колючкой.

— Как это не мое? — возмутилась дочь и презрительно повела плечами. — За собой не смотришь, а приводишь дворнягу, которой место в виварии.

Массивное лицо Александра Васильевича вдруг побледнело. Он тонко вскрикнул:

— Прекрати сейчас же!

Семена, подбежал к магнитофону, с треском выключил.

Дочь никогда прежде не видела отца таким раздраженным, удивленно фыркнула:

— Крик — признак дефектного мышления... — и пошла к телефону звонить приятельнице.

Эта явно чужая, а по отношению к отцу хамская фраза еще больше взбеленила его. Совершенно расстро-

енный направился в душ. Трясущимися руками открыл краны смесителя, разделся и встал под рожок. Вода лилась по худым лопаткам. Чтобы успокоиться, прибавил холодной воды и чуть не заплакал от непонятной обиды и ледяных игл.

Конечно, дочка права: держать собаку негде. Он вечно занят. Но и выгонять на улицу — предательство. Надо размыслить. Может, хозяин сыщется?

«Напишу объявление», — решил он, возвращаясь из ванной.

Дочь ускакала. На ширме висели колготки, как брошенный кокон улетевшей бабочки. Пахло дорогими сигаретами.

«Я ей в тягость. В ее возрасте нужно иметь семью», — невольно пожалел дочку Александр Васильевич и стал собираться.

Медленно оделся, нашел кусок бельевой веревки, привязал ее к ошейнику пса и вывел его на прогулку.

Утро было солнечное. На мосту гремели трамваи. По Невке плыли белые льдины. На набережной было пустынно. Голуби летали в сверкающем инее.

После прогулки он пришел в некоторое равновесие. Накормил собаку остатками супа, сам хлебнул чаю с вафлями и подготовил три объявления.

«Ничего, образуется как-нибудь», — подумал Александр Васильевич и на прощание погладил ласкового псину по голове, как гладят детей. И, взяв портфель с конспектами, вышел.

Недалеко от дома велось капитальное строительство, обнесенное дощатым забором, на котором были густо наклеены различные объявления. Прикнопил и свои бумаженции: одну — повыше, две — с переулка.

В половине одиннадцатого он, как обычно, сел в троллейбус. В салоне было холодно. Кожухин поставил ноги в чешских ботинках на печку под сиденьем, поскреб пальцем иней на стекле, думая, куда определить соба-

ку, если хозяин не найдется... Через неделю надо ехать в санаторий лечить почку, которая уже в течение полугода не давала покоя. Последнее время он стал раздражительным до крайности, избегал контакта с людьми. Даже в трамвае или метро старался сесть в стороне. Тут была и другая причина — нервное потрясение. В марте прошлого года от острого лейкоза умерла жена, Полина Сергеевна. Одно к одному... Раньше он дорогой читал, а теперь глаза застилало мутной пеленой.

Углубленный в свои мысли, не заметил, как доехал до площади, где надо было сходить.

Он вылез, озираясь на мчавшиеся машины, перебежал улицу. И через квартал свернул налево.

Полукруглое здание техникума блестело широкими окнами. На трубах бетонного завода горели красные газетные огни.

Александр Васильевич с трудом поднялся по каменной лестнице, толкнул тяжелую дверь. Гардеробщики пили чай за вешалками. Среди пальто их голоса звучали глухо. Мимо метнулся опоздавший первокурсник. Кожохин разделся и перед пятой аудиторией надел толстые очки. Строго вошел и сразу заговорил:

— Один из французских просветителей сказал: «Все, что человек может вообразить, будет существовать...»

Он любил смазывать сухие технические описания неожиданными экскурсами в историю, считая, что такой метод больше действует на молодые умы. Между смысловыми раундами он рассказывал в проходе, шутил со студентами, если бывал в хорошем настроении.

Сегодня почка опять взбунтовалась, боль отдавала в поясницу. Какая-то частица мозга работала отдельно от того, что он произносил. Стараясь сосредоточиться, он глядел в окно, из которого были видны железнодорожная насыпь, переезд с автоматическим шлагбаумом.

Под горку спускался человек, неся на плече квадратное зеркало. Солнце мигало, двигалось вместе с прохожим. Впереди вприпрыжку бежал мальчишка. Там было хорошо... Вороны осыпали с деревьев иней.

Предстояло говорить еще два часа, а в горле пересохло. Он едва дождался звонка и заспешил в туалет, где прямо из-под крана пил ледяную воду. Потом направился в лабораторию электроники. В комнате было светло, уютно. Приятно пахло авиационным лаком. Павел Иванович Гречихин, приятель Александра Васильевича, копался в задатчике. На подставке дымилась сигарета и паяльник.

Поздоровались. Гречихин сунул сигарету в желтые зубы, мельком глянул на взъерошенного коллегу:

— У тебя глухие глаза, шеф. Случилось что?

— Что может со мной случиться еще? — усмехнулся Кожохин и заговорил про собаку, как нашел ее, скулящую у дверей, теперь не знает, что делать. — Не возмешься приютить, пока вернусь из Риги?

— Не проси, теща не позволит.

Александр Васильевич только вздохнул:

— Ну нет, так нет.

Посидел минут пять и пошел в аудиторию, где снова смотрел в окно и говорил, как робот.

На пустыре поднялся ветер. С насыпи катались лыжники. Девушка в красном свитере лениво тыкала в снег алюминиевой палкой. Насыпь была крутая. Девушка часто падала. Парень съезжал вслед, помогал ей вставать, подолгу задерживая в объятиях.

Александр Васильевич возвысил голос, чтобы отвлечь студентов, которые тоже пялились в окно.

В большой перерыв Кожохина вызвала директриса Алевтина Петровна. Он вошел в ее кабинет, сухо кивнул и сел в мягкое кресло. Она приветливо улыбнулась:

— Знаете, зачем беспокою?

— Догадываюсь.

Алевтина Петровна придирчиво посмотрела в угол, где стояло трюмо, неизвестно как попавшее в кабинет. Вид у директрисы был внушительный — энергии целая мегатонна. Под ее руководством техникум числился в передовых.

Секретарша ввела в кабинет студента Редькина, который вчера натворил дел. Был он довольно лохмат, неопрятен, большой лоб выдавался вперед, взгляд — острый, не по годам. Александр Васильевич хорошо знал его блестящие способности: в электронике разбирается не хуже дипломированного инженера... И вдруг такое выдал — уму непостижимо. .

— Вы понимаете, что вас могут отчислить за хулиганство? — с ходу начала директриса и сделала карандашом перечеркивающий жест.

Редькин скептически усмехнулся и вынул красные руки из карманов вельветовой куртки.

— Ну что улыбаетесь? Плакать надо. — Алевтина Петровна покрылась багровыми пятнами. Ее возмутило поведение студента, который не трясся, не каялся, как другие. Слово было не виноват.

Кожохину нравилась его независимость, решил не вмешиваться, пока директриса не остынет. У нее это быстро проходило.

Она устало помахала рукой перед лицом:

— Рассказывайте.

Редькин переступил стоптанными башмаками по ковру и ровным голосом стал излагать неприглядную историю. Самому Кожохину известно было то, что вчера физрук задержал девушек: они плохо выполняли упражнение на брусьях. Студентки не успели переодеться, прибежали на лекцию математики в спортивных костюмах...

— Валерий Павлович выстроил девушек у доски и начал стыдить их, разбирать стати... — хрипло выдавил Редькин и покраснел.

— Вы не преувеличиваете? — перебила директриса. — Валерий Павлович не мог позволить такое... Но допустим. Как реагировали горе-спортсменки?

— Они смеялись, а Хабарова заплакала...

— Эта та кругленькая?

— Он больше всего потешался над ней — мол, тумба-двоечница... Ну я и не вытерпел, сказал, что он не имеет права издеваться. Валерий Павлович приказал покинуть класс. Я не пошел. Он схватил меня за руку...

— И вы ударили его?

— Он защебил мне мышцу. Было очень больно. Я вывернулся, нечаянно задел его локтем...

Директриса шумно вздохнула:

— Как вам верить? Болевой прием никто не видел. Все хором утверждают, что вы намеренно ударили и выжидали.

— Нет, я сказал правду.

Редькин замолчал и набычился. Директриса нервно забарабанила карандашом по столу. По ее расстроенному лицу было заметно, что она заколебалась. Александр Васильевич знал, что она недолюбливает Валерия Павловича Зуева за самодовольство, за дурную привычку сидеть на углу стола в преподавательской. Решать что-либо конкретно было трудно.

— Да, Редькин, заварили вы кашу... Все возмущены вашим поступком. Я могу отчислить вас приказом. Но пусть коллектив думает, что делать. В среду собрание. Идите, — заключила Алевтина Петровна и снова покосилась на свое отражение в зеркале. Стул крякнул под ее грузным телом.

Когда студент вышел, она пометила в настоящем календаре день и обратилась к Кожохину:

— Господи, ничего хорошего не прививается, учим, учим. Что скажете, Александр Васильевич?

— Что скажу... — Он помедлил, нащупывая в кармане коробочку с лекарством. Сжал ее в кулаке. — Извините, устранять спектакль с девицами — ни в какие ворота не лезет... Ни один человек не имеет права мучить другого человека ни морально, ни физически. На месте Редькина я бы тоже сказал кое-что... — Кожохин развел руками.

— Понимаю, но Зуев докладную записку представил. Читала и удивлялась. Надо давать ей ход, судить Редькина. Попробуйте уговорить Валерия Павловича, чтобы забрал писанину. — Директриса вытащила из ящика стола бумагу и потрясла ее в воздухе. — Полюбуйтесь! С основания техникума такого не было...

Александр Васильевич взял «телегу», внимательно прочел. Действительно, дело было скверное, хуже не придумаешь.

Он положил зуевскую докладную на стол, брезгливо отодвинул ее подальше и встал.

— Человек он гордый. Попытаюсь, что в моих силах.

— Надеюсь на ваш многострадальный педагогический опыт. Главное, Зуева не упустите, — напутствовала на прощание директриса.

Кожохин вышел в коридор, поправил галстук, съехавший на сторону. Сначала решил разыскать Аллу Борисовну, имевшую влияние на Валерия Павловича. Женщина она была привлекательная. Широко расставленные синие глаза ее в сочетании с лихорадочным румянцем производили на мужчин впечатление. Семь лет назад муж Аллы Борисовны погиб в автомобильной катастрофе. Алла Борисовна была практична, имела житейский ум, то есть понимала: года прошли. В голову ей взбрела невеселая мысль — застолбить Зуева. Он был

разведенец. Перед такой женщиной устоять трудно. Да и коллеги принялись хлопотать. При появлении Аллы Борисовны с Валерием Павловичем в преподавательской начинались покашливание, синхронное подталкивание под ребра локтями. Кто-нибудь выходил на цыпочках в коридор, затем другие искали срочные дела. На капустники их приглашали вместе.

Александр Васильевич долго не подозревал благожелательных намерений коллектива. Однажды Зуев взял его за пуговицу и, заговорщицки оглядываясь по сторонам, сказал, что собирается жениться.

— На ком, если не секрет?

Зуев страшно удивился:

— Об этом, кажется, все осведомлены. Алла Борисовна вам ничего не говорила? Странно... В мае мы подаем заявление.

— Поздравляю, коллега. Человек она славный. Женитесь на здоровье. Поздравляю, — искренне повторил Александр Васильевич. Но черт дернул за язык, больно вид у Валерия Павловича был напыщенный: — Женишься — пожалеешь и не женишься — тоже пожалеешь...

Зуев даже отпрянул:

— Не ожидал от вас, однако...

С тех пор будто черная кошка пробежала между ними. Александр Васильевич не мог взять в толк, почему Зуев обиделся на невинную шутку.

Аллу Борисовну он нашел в столовой. Она всплеснула руками:

— Александр Васильевич, голубчик, что с вами?

— Нездоровится, — кратко ответил он и сел рядом.

Она хорошо относилась к нему и при встрече каждый раз говорила, как плохо и одиноко ей живется:

— Надо мной тяготеет рок.

На ее лице отражалась затаенная печаль. Кожохин от души сочувствовал ей, успокаивал:

— Слезы вдов поднимаются к небу.

— Вы один понимаете меня, — отвечала она и грустно смотрела в глаза.

Сейчас она ела рассольник. Александр Васильевич стеснялся начинать разговор про студента Редькина. Заказал курицу с рисом и долго кряхтел над блюдом. Курица была холодная, скользкая, как мыло. Мясом только засорил зубы. Десны нестерпимо чесались.

Алла Борисовна завела беседу о Сартре, книгу которого достала у подруги. Пришлось выслушать ее мнение об экзистенциализме, довольно превратное. Он прекрасно понимал, что Аллу Борисовну никакой Сартр не интересует, просто она хочет казаться передовой женщиной. Терпеливо поддакивал.

Когда вышли в холл, он выложил суть дела. Алла Борисовна округлила глаза, что ей очень шло, замахала руками:

— Вы же знаете, Валерий Павлович принципиален. Ему кол на голове теши, не отступится. Я его даже боюсь, накричит чего доброго. Нет и нет. И какой резон защищать Капусткина, то бишь Редькина? Разнузданный, волосы грязные. Бр-р. Ну и что из того, что талантливый? Нигилист он!

Александр Васильевич всегда удивлялся — когда и с каких времен нигилизм стал ругательной категорией? Он уже не раз слышал подобное мнение от других, даже неглупых людей, будто понятия сместились.

Конечно, он не высказал своего отношения к нигилизму, а начал давить с другой стороны, более доступной красивой женщине.

— Вы ради меня поговорите с Валерием Павловичем. Он вас послушает, во всяком случае не съест. Как говорили в старину: львы бабочкам не опасны.

— Ой вы и дипломат, Александр Васильевич! Так и быть, в знак нашей дружбы...

На том и расстались.

Не дожидаясь перерыва, Кожохин вызвал старосту курса. Это был дисциплинированный молодой человек, недавно демобилизованный из армии. Он не потерял привычки козырять, лихо щелкать каблуками. Пиджак сидел на нем как мундир.

Александр Васильевич заговорил о предстоящем собрании: если не защитить Редькина, то его непременно посадят в тюрьму. От выступлений студентов зависит многое...

Он замолчал, вынул платок, снял очки, протерев линзы, снова водрузил очки на внушительный нос. После принятых в коридоре таблеток сердчишко хлюпало, как старый дизель, куда-то проваливалось, пуская пузыри.

Конечно, так волноваться не стоило.

Староста пошевелил гвардейскими усами и с готовностью отчеканил:

— Вас понял. Разрешите идти?

Александр Васильевич даже поморщился от неуместного уставного щегольства бравого паренька.

— Идите. Кононова пришлите, который сидит рядом с Редькиным.

Переговорил и с Коновым, который отрицал, что его сосед ударил преподавателя. Глаза у него были честные.

— Я видел. Ей-богу, тут недоразумение.

— Хорошо, разберемся.

Скоро прозвенел звонок. Кожохин направился на очередную лекцию к второкурсникам. Окна этого класса выходили к заводу. Из ворот выезжали самосвалы с дымящимся бетоном. Через двойные рамы слышалось их рычание.

Александр Васильевич отвлекался от главной мысли, говорил нескладно, надеясь, что умный студент поймет, где хорошее, где бросовое. Почка тревожила. Стараясь не делать резких движений, ходил у стеклянной доски,

чертя на ходу схемы, скупое цедил слова. Утренняя стычка с дочерью из-за собаки не выходила из головы. А тут еще и дело Редькина. Лучший студент. . .

В переднем ряду сияли две розовощекие дульциней. Видя рассеянность преподавателя, они стали перешептываться. Какая из них Постникова, какая Бергамотова, Александр Васильевич убей не мог вспомнить. Девушки учились через пень-колоду, однако за модой следили: от косметики ресницы у них слиплись, как у больных трахомой, волосы были напысканы душистым лаком.

Он отошел подальше из зоны действия духов и стал закругляться.

В перерыве он снова глотал холодную воду, превозмогая тупую резь в пояснице, и думал, что надобно самому переговорить с Зуевым. У того были последние часы. Пришлось ждать.

Из коридорного окна был виден пятачок, где Зуев обычно парковал свою машину. Он вскоре подъехал на «Москвиче» последней марки. Вылез и, сняв зеркало, протер лобовое стекло фланелькой. И только после этих механических движений захлопнул дверцу.

Александр Васильевич вздохнул, наблюдая за ним, вдруг вспомнил, что Валерий Павлович в день поллучки всякий раз жадно расписывается в денежной ведомости.

Часы в холле пробили три часа.

Зуев не любил фамильярности на глазах студентов и поднял брови, когда Кожохин умудрился взять его под локоть.

— Я вас долго не задержу, — отворяя двери парткабинета, сказал Кожохин. Он отдернул штору и открыл фрамугу проветрить помещение.

Начинать разговор нелегко. Было ощущение, будто по спине ползало отвратительное насекомое. Усилием воли подавил неприятное чувство.

Валерий Павлович тоже дергался, догадываясь о предстоящем разговоре, и начал первый, уверенный в своей непогрешимости. Говорил долго и нудно о дисциплине в техникуме, которая оставляет желать лучшего. Прощать — значит, развращать нравы...

Александр Васильевич ждал, пока кончится эта запрограммированная катушка. Ему даже послышался легкий щелчок, словно в голове Валерия Павловича сработал тумблер.

— Я вас прекрасно понимаю, коллега. Все, что вы говорили, верно в некоторой степени. Но ведь одного правосудия мало, нужна и справедливость. Не так ли? Нам доверили учить молодых, а мы сами порой бываем безнравственны, — перебил Кожохин.

Это был стратегический просчет. Шея Валерия Павловича покраснела.

— Позвольте, на что вы намекаете? — возвысил он голос до верхнего регистра.

— Не намекаю. Чистота мысли — основа педагогики. Как объяснить ваше неприкрытое издевательство над студентками? Решили развлечься? Нашелся один человек, который одернул вас. И вы приняли это за дерзость... Я не говорю о приеме, который вы испытали на студенте. Разве не так? Всем известно, что вы посещаете спортивный клуб. Но никто вам не дал права использовать такие методы воздействия. Все это недостойно высшего звания учителя...

— Как вы смеете? — сорвался на крик Валерий Павлович. Глаза его побелели. Он тяжело дышал и глядел на Кожохина как на лютого врага.

— Успокойтесь, успокойтесь. Хочу, чтобы вы подумали и решили правильно. Надеюсь, заберете рапорт — этот тонкий образчик сикофантства?

— И не подумаю!

— Напрасно, напрасно. Будем беседовать на парт-

коме, — обрубил Александр Васильевич и вышел из кабинета.

— Поговорили, называется... — бормотал он, понимая, что и на парткоме Зуев вывернется как угорь: доказательств прямых нет.

В преподавательской сидела молоденькая Елена Всеволодовна, в обиходе Леночка. Увидев Кожохина, заинтересовалась:

— Александр Васильевич, что вы такой встрепанный?

— Не говорите. — Кожохин бросил портфель на стул. — Какой-то, извините, сфинкс...

— Кто?

— Известно кто. Всеми уважаемый Валерий Павлович.

— А что? — спросила Леночка.

— Да насчет Редькина хлопочу: Хотел, как лучше, да куда там... — Кожохин шумно высморкался в платок и повторил: — Сфинкс.

Леночка заморгала густыми ресницами:

— Почему сфинкс?

— Ну как же такого человека назвать? Сфинкс — понятие двусмысленное... Человеческая голова, выглядывающая из тела животного, изображает дух, который начинает возвышаться над природой. Но можно трактовать и наоборот: в каждом человеке сидит зверь. Валерий Павлович в последней ипостаси. Простите, другого сравнения не нахожу...

Александр Васильевич помахал рукой.

Леночка покраснела. В ее представлении личность Валерия Павловича как-то не вязалась с такой сокрушительной характеристикой.

Александр Васильевич покопался в столе, выгреб пачку схем, набросанных на клочках бумаги, сложил в портфель и сказал:

— Завтра совет, вы уж поддержите.

В преподавательской было тепло. Леночка сняла с головы пушистую песцовую шапочку, вывернула ее наизнанку и засунула в целлофановый пакет. Такую ценность она не решалась оставлять в гардеробе, убрала в сумку.

Волосы Леночки были иссиня-черные, как перо у только что полнившегося ворона. Глядя на нее, Александр Васильевич с грустью подумал, что быть молодым хорошо: все у них прекрасно, все блестит...

Тем временем Леночка вытащила массажную щетку и прервала ею по своей ухоженной головке, посмотрелась в зеркальце и, наконец, сказала:

— Александр Васильевич, не хочу вмешиваться. Кто их разберет? На месте Валерия Павловича я, может быть, и простила. Но студенты не ангелы. Пока вдолбишь им что-нибудь полезное, приходишь домой, как выжатый лимон. Иной раз, тьфу-тьфу, подозреваю в себе зачатки мизопедии... Сами знаете, что вытворяют. Жестокие. Прошлым летом наш драмкружок ездил в колхоз. Гордость техникума Чистяков с Соней Лукановой, что вы думаете, живых птенцов, выпавших из гнезда, скармливали кошке... У меня волосы на голове дыбом встали. Спросила: «Что вы делаете?» Смеются — мол, все равно погибнут... Кошмар какой-то. Вчера Кондаков учудил: ручки от дверей актового зала вывернул. Завхоз полчаса мыкался, крючком еле открыл...

— На нет и суда нет, — перебил Александр Васильевич, понимая, что неопытной Елене трудно защищать Редькина, который вполне заслужил сурового наказания. А Валерий Павлович — душа коллектива...

Кожохин отвернулся от Елены, которая отвела раскосые глаза, взял портфель и вышел.

Надо было ехать в город по важному делу. Мамаша

одного из студентов продавала редкую библиотеку. Пока не перехватил никто, решил крупный залог внести, — вчера из сберкассы деньги вынул.

Гардеробщик хотел подать пальто, но Кожохин сам последовал к вешалке, чтобы не утруждать старика.

На улице машины двигались стеной. Когда поток схлынул, Александр Васильевич трусцой пересек дорогу в непопущенном месте: до перекрестка было далеко-далеко.

На заводе кончилась смена. Троллейбус был набит людьми. Кожохин втиснулся на нижнюю ступеньку, лицо отвернул, чтобы не нюхать чужие спины, и пару оставок терпеливо сносил тычки.

У спасительного метро он вывалился вместе со всеми, цепко держа погнутый портфель. Люди бежали как оглашенные, толкая стеклянные ворота. В общем пылу он устремился через турникет вниз. Дежурная надрылась в микрофон:

— Не бегите по эскалатору!

Александр Васильевич подумал, что работенка у нее — не позавидуешь, лучше траншеи рыть...

Выталкивая тупым лбом воздух из тоннеля, появился электропоезд и тормознул у стены, обшитой алюминиевыми досками. Вагон был с полным комплектом пассажиров, но нашлось одно место. Александр Васильевич сел в узкую щель между двумя тетехами и стал разглядывать людей.

У всех сидящих были почему-то короткие носы. И он скептически подумал о библейской версии, что бог сам, видать, не очень-то хорош и красив, если создал человека по образу и подобию своему... Эта мысль немного развеселила его, успокоила.

Незаметно летели станции. Пора было выходить. Он с великим облегчением выбрался из подземных тисков, щупая поясницу. Людская давка пошла на пользу: почка перестала ныть. И то добро.

Новостройки несравнимы со старым элегическим городом. Но здесь было много простора. С востока тянул полувесенний ветер.

У телефонов-автоматов Кожохин остановился звонить дочери, чтобы до его прихода она накормила и выгуляла собаку.

Будки были заняты воркующими матерями: тут недалеко была детская консультация. Живописным кругом на снегу выстроились рессорные коляски разных цветов. В одной из них гаркнул басистый человек. И толстощекая мамаша наконец отлипла от трубки.

Негнушимся от холода пальцем Александр Васильевич набрал номер. Дочь была дома. Выслушав наставления, она вдруг выпалила:

— Папенций, твой уважаемый цербер, о котором ты столь волнуешься, Гуго изодрал: переплет кожаный и комментарии подчистую... Будешь знать, как бродяг приводить. Я его выгоню, честное слово! — В ее голосе слышалась решимость.

— До моего прихода ничего не предпринимай! — крикнул Александр Васильевич. В трубке холодно щелкнуло, раздались короткие гудки.

Это сообщение сильно расстроило его. Гуго Гроций — редчайшая книга. Голова даже разболелась.

— Ах, черт побери. Надо было думать... — сокрушенно приговаривал он, идя по скользкой дорожке.

Февральское солнце сияло на голубом небе. В огромном универсаме кипела жизнь. За чистыми стеклами шатались люди с проволочными сетками. Кассовые аппараты мигали зелеными огнями. Из чебуречной вывалилась шумная компания с багровыми, будто накаченными лицами. У фруктового ларя галдели старухи, ожидая апельсины, которые выгружали с железной телеги на тротуар. По ветру летали оберточная бумага, струж-

ка. Продавец распаковывал ящики, весело перекидываясь с очередью грубыми шутками.

Кожохин проглотил слюну, так захотелось апельсин. Но было невозможно выдержать час на морозе, да и Регина Львовна Никифорова, наверное, уже ждала. Он немного запаздывал.

Когда он позвонил, хозяйка долго шумела замками и наконец впустила:

— Проходите, проходите. Раздевайтесь. Будьте как дома. Вы вовремя. Точность — вежливость королей... — и несла прочую необязательную чепуху.

Александр Васильевич снял тяжелое пальто, шапку с козырьком и повесил их на вешалку вьетнамского дуба. Регина Львовна подсунула заячьи тапки. Пришлось снимать и ботинки: ничего не скажешь — ковры. Ноги тотчас загорелись от меха.

— Ну-с, я, собственно, первым делом хочу глянуть одним глазком на ваше богатство... Не верится, что у вас такая библиотека, как вы описали... — начал Александр Васильевич потирая озябшие руки, и оглядел прихожую, обитую материалом под тисненую кожу.

— Всею свое время. Мы — интеллигентные люди, не будем пороть горячку. Мойте руки, проходите в гостиную. Я сейчас...

Шурша японским халатом с драконами, Регина Львовна направилась в комнату.

Путая выключатели, Александр Васильевич вошел в ванную, отделанную голубым кафелем. И среди зеленых шампуней, бутылочек, флаконов сыскал обмылок с прилипшими волосами.

Кожохин был брезглив к чужим запахам. Долго мыл руки, тер их краем мохнатого полотенца, думая, сколько заводов, фабрик работают, чтобы выпускать ненужные, вредные для природы вещи, сколько людей мучаются

на производстве, чтобы удовлетворить стремление отдельных особей к гедонизму низшего порядка...

Он вошел в гостиную. Регина Львовна успела переодеться в брючный костюм сандаракового оттенка. Лицо было в полном боевом гриме. Хозяйка знала себе цену.

Она открыла бар, вмонтированный в холодильник. На свет появились стопочки богемского хрусталя, бутылка коньяка.

— Ну, это зря, — сказал Кожохин.

— Мы по капельке. Вы совсем не пьете?

— Изредка. Да и сейчас непьющие вроде как высшая раса, — пошутил Кожохин.

Хозяйка выплыла и внесла салат и лимоны.

Все углы и полки в гостиной были заставлены антиквариатом. В стенке «Кристина» стоял римский центурион со щитом на спине. На столе, отделанном рифленой медью, красовалась пикантная сельфида, моющая ноги в ручье. Тут же стояла устрашающих размеров хрустальная ваза.

Этот ретрокич Александр Васильевич успел хорошенько рассмотреть, пока Регина Львовна сервировала стол, накрыв один край его белоснежной скатеркой.

— Присаживайтесь.

Кожохин выдавил на лице улыбку и сел.

— Да, прямо музей у вас...

Регина Львовна засмеялась:

— Люблю старинные вещи. Моя непростительная слабость. — Она погладила статуэтку.

Кожохин посмотрел по сторонам: книг нигде не было видно.

— Не вижу библиотеки. Разве что в другой комнате? — брякнул, не подумав.

— Сначала ленч, — уклончиво ответила хозяйка. — С мужчинами лучше не связываться, пока они голодны. Верно я говорю?

— Да.

— Вот и прекрасно.

Регина Львовна нарезала лимон, разложила салат по толстым тарелочкам, разрисованным каретами, слева — две воздушные вилочки, справа — тупорылый ножичек. Серебро — к фарфору.

Александр Васильевич привык есть из простых тарелок. Не знал, как подступиться к тонкой сервировке. Он начал подозревать, что библиотека ничего не стоит, какая-нибудь дрянь. Выкаблучивается баба, маркизу играет: еды положила — воробью на смех.

Выбрал вилку пошире, чтобы не сваливалась закуска. И стопочку приподнял — на полпальчика коньяка в ней.

Регина Львовна оттопырила кривой мизинец, пригубила темный коньяк и закатила глаза.

— Крепенько. Эту марку уважал покойный Уинстон...

Кожохин начал злиться и грубо ответил, что у англичанина была губа не дура.

Регина Львовна даже поморщилась.

Салат, как показалось Кожохину, был рыбный. Ковырнул волокнистую белую пластину и поинтересовался:

— Форель?

— Ну что вы, — обиделась хозяйка. — Самые настоящие крабы. Достала через приятельницу...

Попавшему впросак Александру Васильевичу оставалось лишь сказать:

— Действительно, крабы. Я уже вкус забыл. После войны, помню, банки штабелями стояли. Никто не брал. Да, времена меняются...

Простодушное признание развеселило Регину Львовну. Она встала.

— Вижу, вам не терпится обозреть книги? Так и быть, идемте.

Кожохин утер рот салфеткой, тоже встал и направился вслед за хозяйкой.

Она раскрыла кладовку в коридоре.

— Ну-ну, посмотрим, чем вы нас обрадуете, — забормотал Александр Васильевич, оглядывая пачки книг, связанные шпагатом. Видно, они давно находились в плену: изрядный слой пыли покрывал корешки.

Кожохин машинально пощупал карман — хватит ли денег на покупку — и повернулся. Не видела ли хозяйка его восторга? Но она дипломатично ушла на кухню, гремела там кастрюльками.

Он, как заправский маклак, взял себя в руки, сел на корточки и терпеливо развязал тугую веревочку.

Регина Львовна вернулась и ласково спросила:

— Ну и как?

— Кое-что есть достойное, — произнес Александр Васильевич, стараясь придать голосу равнодушие. Но скрыть невозможно, что написано на лице.

— Не трудитесь, у меня — реестр. — Хозяйка вытаскивала из настенной сумки список, аккуратно отпечатанный на мелованной бумаге.

Кожохин только глазом моргнул: Родерик Толедский, Адам Олеарий, Ксенофонт...

— Сколько? — спросил упавшим голосом.

— По знакомству — недорого. Что с вами делать...

Регина Львовна назвала цену. В ее глазах метнулась тень усмешки.

Он уловил это, но не придал значения. Снова окинул взглядом сваленные книги, в углу высмотрел еще и Куно Фишера.

Совсем рехнулась баба. Сказать, что она дура елисейская, или отвалить запрашиваемую сумму, и дело с концом?

Александр Васильевич не знал, что и думать, храбрость его пропала. Даже вспотел от переживания. Ох,

как хотелось надуть! Но порядочность, таившаяся в глубине души, взбунтовалась. Он хрипло выдавил:

— Вы просто не в курсе...

Назвал среднюю стоимость библиотеки. Цифра была солидная.

Регина Львовна будто ждала такой реакции и, как он понял значительно позднее, накинула стальную петлю весьма искусно, сказав, что книги достались ей от деда. Но по настоянию мужа, который сторговал дачу на Карельском перешейке, она вынуждена продать их. Она не хочет, чтобы книги уплыли в руки какого-нибудь проходимца...

— Зная вашу святую одержимость, библиотека будет в надежном месте, — высокопарно закончила хозяйка. Ее лицо было само простодушие, только тяжелые, как блины, веки слегка дрогнули, когда Кожохин внимательно посмотрел ей в глаза.

Он запротестовал:

— Нет-нет. Разговора быть не может. Задаток у меня с собой.

И покраснел, будто среди бела дня ограбил человека. Снова сел на корточки, разглядывая пачки.

Регина Львовна вышла на кухню, ничего не сказав, и оттуда закричала:

— Александр Васильевич, блемасы готовы! Садитесь за стол, там переговорим.

Обалдевший от гостеприимства, обходительности и удачной сделки, он нехотя поднялся и проследовал за стол, больно ударившись коленной чашечкой о медный выступ.

Хозяйка внесла дымящуюся кастрюльку, крученой ложечкой разложила блемасы по тарелкам.

— Это старинное польское блюдо. Я знаю много рецептов. Отведайте. Хлеб, правда, хоть об стенку бей. Вы уж извините, в магазине другого не было...

— Хорошо и так, — застеснялся Кожохин, ощущая на себе холодный взгляд Регины Львовны. Эта вежливость как-то не вязалась с ее стальными глазами. Бывает, человек улыбается, а глаз держит на прицеле. Чудно!

Коньяк опять капнула благопристойно, чуть выше чем в первый раз, и начала разговор издалека, о том что люди должны помогать друг другу. Но есть еще мелкие варвары, сутяги, которые портят жизнь хорошим людям. Стала рассказывать про мужа, что он работает день и ночь, безусловно, прихватывает на стороне, консультирует и прочее. Сотрудники интригуют. Он талантлив, ему мешают...

И ни слова о книгах, будто Кожохин пришел не по делу, а был лучший друг семьи Никифоровых, знал тонкости их жизни.

— С годами я все больше убеждаюсь, что люди в области нравственности утратили отдельные модули ее: благородство, чувство собственного достоинства, честь, — журчала Регина Львовна. — Все нам завидуют. Не поверите, до чего дошло, придумали, что у нас на старой даче — паркет в купальне... Психология неимущих. Вокруг мало порядочных людей, грустно сознавать это. Вы согласны?

Было непонятно, куда клонит хозяйка.

Александр Васильевич устал от дневных забот, хотелось выбраться на свежий воздух. Он рассеянно рассматривал темную картину в дорогом багете. Как он понял, это была картина какого-то художника, написанная на тему «Мессиады» Клопштока. Восемнадцатый век...

И странно, физиономия Пилата была похожа на лицо самой Регины Львовны: тонкие губы, близорукие глаза. Он удивился сходству, даже перевел трижды взгляд с прокуратора Иудеи на хозяйку и поежился, собираясь встать.

Но хозяйка воспротивилась:

— Сидите, сидите. Вам не нравятся блемасы?

Блемасы ему нравились.

— Да, хотела спросить, куда нынче будут распределять выпускников? Слышала краем уха, что есть разрядка в Норильск и на Дальний Восток. Это правда?

— Вполне возможно, — туманно ответил Александр Васильевич и пояснил, что техникум готовит специалистов для всей страны.

— Понятно, — кивнула Регина Львовна, наливая коньяк по рубчик. — Мой сын может рассчитывать остаться в Ленинграде?

Кожожин пожал плечами:

— Решает комиссия. Право выбора имеют отличники. Остальные — куда пошлют, где есть голод в кадрах.

Регина Львовна пригорюнилась и заговорила, что ее Вадику надо поступить в институт, пока не забрали в армию. Отрабатывать три года на Севере ему повредит. Не дай бог попадет в дурную компанию. Вадик — акселерат, психика неустойчивая. Он умный, способный, правда немного шалопай. Любит вечеринки с музыкой. Отсюда и учеба хромает. Молодость...

— Я у вас очень прошу содействия. Вы же председатель этой жуткой, простите, комиссии...

Регина Львовна сморщилась, доставая из кармана батистовый платок, и, чтобы не смазать грим, уголком вытерла набежавшие слезы.

Александр Васильевич хорошо знал ее сына. Он был отпетый бездельник. Щедро отпускаемые отцом карманные деньги разбаловали мальчишку. Таскается по барам, учеба запущена. Его два раза пытались отчислить за прогулы. Но мать, тонко зная человеческую натуру, обила пороги, обворожила педагогов обходитель-

ностью, неприкрытой лестью. Женщинам организует к Восьмому марта дорогие подарки, накладывая гривну на родителей. Бегает, достает такие вещи, что трудно отказать. Все у нее в долгу...

И теперь сам Александр Васильевич удостоился заглотить крупную блесну. Он даже зажмурился от этой, вдруг пришедшей на ум, паскудной мысли, потер нос рукой и сказал:

— Не могу обещать. Один в поле не воин...

— Ну что вы, — возразила Регина Львовна. — Стоит вам пальцем пошевелить, остальные проголосуют «за». Я уверена. У вас такой громадный авторитет...

Улыбнулась, уже зная заранее, что ее сын никуда не поедет.

— Мне пора. — Александр Васильевич грузно поднялся, вынул деньги и бросил их в хрустальную вазу, будто в помойное ведро. Лицо его покраснело, обрюзгло от коньяка и недовольства самим собой. — Завтра остальные...

— Ради бога, в любое время, когда сочтете нужным, — поспешила заверить хозяйка и проводила в прихожую. — Заберете книги? Я вызову такси.

— Сегодня не могу.

Он вбил ноги в ботинки, напялил шапку на глаза и, даже не застегнув пальто, шагнул за порог и выдавил кнопкой урчащий лифт.

К вечеру сильно подморозило. В восточном углу неба виднелась тоненькая струйка месяца. От этого казалось еще холоднее, резкий ветер вышибал слезу.

Александр Васильевич застегнул на ходу пуговицы, поднял воротник, бормоча под нос:

— Эхе-хе, слаб человек...

И вспомнил, как Никифорова под Новый год передала завхозу три блока американских сигарет: «Вам, мужчинам».

Петр Петрович, в свою очередь, совратил Оськина и Гречихина, да и милые женщины курили неделю, похваливали табак...

На бульваре темнели крепенькие, как девочки, девочки.

Кожохин прибавил шаг, кляня себя за эту поездку: «Ну и баба... Вздумала обхитрить. Ни стыда, ни совести. И откуда только пронюхала, что я падкий на книги? Шпионит ходит. Мерзость какая-то...»

Универсам еще работал. У входа стояла инкассаторская «Волга». Шофер, сидевший в теплой машине, подозрительно оглядывал пешеходов.

Александр Васильевич опоздал купить апельсины. Продавец выбрасывал на снег пустые ящики. Лицо у него было синее от холода. Он навесил замок и, придерживая оттопыренный карман с вырубкой, заспешил в годсобное помещение.

На пронизанной ветром улице Александру Васильевичу зябко стало на душе. Хотелось домой, где можно включить электрокамин, опуститься в кресло, вытянуть гудящие ноги на банкетку. И чтобы рядом было живое существо: собака или кошка...

Надо было преодолевать обратный путь.

Метро гостеприимно светилось. Кожохин съехал на эскалаторе вниз, держась за липкий поручень. Под низким сводом станции порхали воробьи, очумевшие от гомона и грохота. Люди спешили, не обращали на них внимания. Каждый был занят самим собой.

Подошел поезд. Толпа хлынула в вагоны. Свободных мест не было. Кожохин прислонился к стеклу.

В сторону центра ехала веселая молодежь. Восторг непечатой жизни так и сиял на их отполированных сытостью лицах. И Александр Васильевич невольно думал о своей юности. Как они, восемнадцатилетние мальчишки, наспех обученные, вступили в тяжеленный бой под

деревней Туганово. Как два месяца выходили из окружения, пухли от голода в новгородских лесах, тащили на жердях раненых. Бинтов и ваты не было. Приспособили для перевязок болотный мох, который, как оказалось, хорошо очищал раны... А потом были другие бои, не менее тяжелые: каждому были отпущены полные пригоршни лиха. А потом пришла радость побед...

Кожохин тихо улыбнулся, будто это было вчера.

Уже смеркалось, когда он выбрался из метро и пошел через парк медицинской академии. Деревья раскачивались на ветру. Напряженно гудели вершины.

По аллее гулял сухой опрятный старик с внуком. Мальчишка показывал рукой в небо:

— Опять они!

— Кто?

— Вороны! — захлебываясь, крикнул малыш. — Они спешат на ночлег, да?

— Выдумщик ты, Алеха.

Оба остановились, задрали головы. Кожохин тоже стал глядеть вверх, но ничего не увидел и сказал:

— Надо же, в такой темноте заметил птиц.

— О да, все видит, шельмец, — грустно ответил старик и потянул внука по дороге.

Кожохин вышел на набережную. По реке шлепал буксир, ярко освещенный огнями. Винт отбрасывал ледяную шугу, и было слышно сипенье паровой машины.

На углу стояли четверо парней. Их спортивные куртки блестели в темноте, как засаленная униформа. Один качал в руке включенный транзистор. Компания притопывала ногами в такт чмакающей, жвакающей музыке.

— Эй, мужик, дай закурить! — заорал тот, что молтал приемником.

Александр Васильевич вспыхнул, но сдержал себя, повернул в переулок, чувствуя, как на шее дрожит дряблая кожа.

Он вошел во двор, в окнах его квартиры света не было. Дворничиха Анастасия под фонарем мыла бачки для пищевых отходов и, как всегда, ворчала:

— Вот изверги, ну не ироды?

Кожохин остановился:

— Что ж, Федоровна, на ночь глядя, ругаешься?

— Как не ругаться? Ладно, в три горла трескают, батоны да торты в ведра валят, еще и озоруют: в свинячий откорм стекол накидали. Добро испортили.— Анастасия выпрямилась.— И детки нынешние разбаловались: в двух подъездах почтовые ящики раскрошили,— пожаловалась она, передвигая ведро с кипятком. На снегу вытаял круг. В сумраке лицо ее было опечалено неблагоприятной работой. Она вздохнула, сунула в карманы телогрейки руки, стынувшие на холоде.— Да, чуть не запаматовала. Тут женщина интересовалась собакой. Я как сказала, что она у вас, так сразу мне три рубля дала. У самой глаза такие радостные, такие радостные, не знаю какие... Утром обещала зайти за ней. Вы дома будете?

Александр Васильевич засомневался:

— Может, не ее собака?

— Ее. Как не ее! Я же видела, вы гуляли... Трефом зовут. Еще у нее одно ухо покалечено. Я Надьке Коничевой говорю: «Александр Васильевич кобеля завел, да видно, разонравился, больно страшный, в Неву топить поволок...» Она: ха-ха-ха. Ей палец покажи, год смеяться будет...

— Гм, действительно, ухо того,— согласился Кожохин и направился к подъезду, слыша, как болтливая Анастасия, довольная, что с ней побеседовал жилец, ласково приговаривала:

— Где венник-то? Куды делся? Ах, вси он, нечистик, за бочку зашедши... Васильич! — вдруг окликнула дворничиха. — А то собаку я сведу. Женщина адрес оставила. Больно убивалась она, сердечная. Я, говорит, ночь спать не буду, пока Трефа не увижу...

— Хорошо, — ответил Кожохин и скрылся в дверях.

Пес лежал под вешалкой. Видно, Капитолина дала ему трепку: даже не поднялся, смотрел из угла человеческими глазами.

Александр Васильевич пронес окоченевший портфель в комнату.

Разодранный Гроций на полке был демонстративно прислонен к стене. Основной текст уцелел, но в переплет отдать было необходимо.

Кожохин разыскал утреннюю веревочку и свистнул:

— Что, Треф, в гостях хорошо, а дома лучше. Хватит бока отлеживать.

Пес понял интонацию, радостно взвизгнул, намереваясь лизнуть в лицо, пока Кожохин прилаживал поводок.

Скоро они вышли во двор. Анастасия управилась с бачками, поджидала.

— Я быстренько сведу, тут недалече.

— Прощай.

Александр Васильевич некоторое время стоял, глядя вслед. Душа его осиротела. Он медленно возвратился в дом, снял пальто с шапкой и включил телевизор.

По первой программе ничего путного не было, по второй — знаменитая певица махала своими тряпками. Он прибавил громкость, чтобы слышать ее голос из кухни. Пошел мыть руки, потом извлек из холодильника сыр и колбасу с выпирающими волдырями жира. Насильно сжевал два бутерброда, задумчиво смотря в темное окно.

Зазвонил телефон. Кожохин снял трубку и рассеянно слушал нежное воркование Аллы Борисовны:

— Что было... Представить не можете. Чуть ли не на коленях стояла. Он как скала. Вдруг будто снизошло. Обещал забрать докладную, но требует сатисфакции, чтобы Редькин публично извинился. Вот какие маршочки дела...

— Ну, это я постараюсь уладить, — повеселел Александр Васильевич. — Вы гениальная женщина.

Алла Борисовна рассмеялась.

Телевизор грохотал. Началась спортивная передача. Кожохин прикрыл дверь и, уже не раздумывая, набрал номер Никифоровой.

— Книжки я брать не буду. Обстоятельства изменились.

Не стал измышлять причины: догадается.

На сегодня три дела было сделано. Быть другом самому себе — редкое явление, но он это почувствовал. И, успокоенный, прошел в комнату, сбавил рев «Темпа» и сел в глубокое кресло, вытянув ноги на банкетку.

Баскетболистки вели себя на площадке, как молодые красивые животные. Было приятно на них смотреть. Он слышал пульс в губах и висках, веки слипались.

Тогда он выключил технику, добрался до постели, разделся и лег.

Когда дочь вернулась от подруги, он не пошевелился.

Ночью ему снились птицы, летящие против ветра.

Последняя Марфа



Учительский дом стоял на бугре и продувался всеми болотными ветрами. В палисаднике уныло ходили две индюшки с сбодранными, почти голыми шеями и сердито бормотали. Утро выдалось ясное, холодное. На мокром крыльце виднелись следы.

Почтальон толкнул калитку и, отваливая лепехи-грязи

с подошв, прошел по кирпичной дорожке к веранде. Дверь была подперта палкой. Он оглядел заброшенный двор. У сарая возвышалась куча ольховых поленьев. Топор был воткнут в чурку.

Из сада появился учитель Шорин, держа в руке садовые ножницы, которыми он подстригал деревья. На нем были старые штаны на заклепках, спортивная фуфайка, переkreшенная швами, и выгоревшая шляпа.

Он вежливо поздоровался с почтальоном, полез за пазуху, вытащил мятые сигареты и закурил. Серая индюшка подошла к почтальону и клюнула его в руку. Почтальон выругался:

— Паршивка, каждый раз щиплется...

Учитель отогнал птицу и извинился:

— Порода глупая. Но яйца они несут хорошо...

Почтальон вздохнул, переступил с ноги на ногу. Ему было тяжело приносить письма этому человеку. Он получал их редко, даже совестно было приходиться. Когда пишешь через день, а тебе отвечают от случая к случаю, то все ясно. И тут ничего не изменишь...

«Мое дело маленькое», — подумал почтальон.

Учитель был женат. Жену привез из областного города, где учился на курсах по повышению квалификации. Женщина она была молодая, цветущая, с какой-то печальной походкой и зябким голосом. Учитель любил ее, как только мог. Лето и осень они прожили хорошо. Но она, видно, не могла привыкнуть к этой дикой местности, томилась по большому городу, в котором родилась...

Зимой начались вьюги. Леса и болота заоченели, душа ее совсем затосковала. Однажды учитель проснулся глубокой ночью. Морозный ветер хлестал жесткой поземкой в деревянные стены, выл в трубе.

Учитель встал, зажег слабое, мигающее электричество — где-то отходил провод — и пошел в комнату жены.

Она сидела на диване и плакала в поджатые от холода колени. Он еле успокоил ее, напоил горячим чаем. Она упрямо твердила: «Уеду. Не могу здесь больше оставаться ни одной минуты».

Утром он проводил ее на автобус и стал жить один. Поселковые бабы трепали, будто у его жены есть в городе полюбовник, к которому она и сбежала. Он не обращал внимания на досужие сплетни, терпеливо учил детей в школе-восьмилетке, где вел сразу три предмета: русский язык, литературу и историю. Начальство его ценило. Он просил переводку в город, но замены ему не присылали: учителя в глухомань не спешили. На каникулы он ездил к жене и каждый раз возвращался к началу занятий.

Вот все, что почтальон знал о его жизни.

Шорин pokrивил жесткий рот, воткнул ножницы в паз бревна и холодно спросил:

— Что там у вас?

— Телеграмма. Распишитесь.

Почтальон раскрыл сумку, извлек пачку газет, бумагу и карандаш.

Шорин расписался, нетерпеливо распечатал бланк. Почтальон видел, как лицо учителя побледнело.

— Случилось что?

— Жена заболела, просит приехать. Не знаете, вертолет здесь?

— Еще в шесть утра улетел. Нет смысла туда идти. А до шоссе ой-ей... Трактора и те не ходят. Я к вам на бугор запарился лезть. Грязь — ног не вытащить...

— Конечно, с вашим-то весом, — согласился учитель.

Почтальон вытер пот со лба.

— Хожу много, а толку никакого. Уф, в горле пересохло...

— Выпить хотите? У меня есть кисленькое, жажду хорошо утоляет.

— Стаканчик не мешает пропустить.

Почтальон свалил растопыренную суму к ногам, согнал ладонью росу со ступени и сел. Учитель убрал палку от двери, вынес длинную бутылку и стакан.

— Все, что осталось после праздника. Не обессудьте.

— Мне не к спеху. Сначала вы опрокиньте...

— Я не буду. Пейте, не стесняйтесь. Мне надо собрать кое-что в дорогу...

Почтальон выпил и долго смотрел на учителя, потом сказал:

— Вы действительно решили идти?

— Безусловно. Сегодня суббота, у меня нет занятий...

— Я бы не советовал. Два дня вас не устроит. Река разлилась, паром вряд ли ходит...

— Ничего, лодку найду.

— Там одни старухи живут...

Почтальон вздохнул, понял, что этот человек пойдет, выкупается в первом обвражке и вернется, но ничего не сказал.

На голой яблоне сидел тощий скворец и полоскал горло свистом.

Учитель вынес болотные сапоги и стал переобуваться.

Почтальон допил остатки, насадил стакан на бутылку, прищурившись, смотрел на грязных индюшек и думал, что в доме учителя одни книги. Про директора школы этого не скажешь, дом полная чаша: десять ульев злых кавказских пчел, два кабанчика, мотоцикл «Урал», хозяйственная жена...

Учитель потопал сапогами и туже затянул брючный ремень:

Почтальон поднялся со ступеньки, закинул суму на толстое плечо и хмуро кашлянул в кулак:

— Вы это... через Сонькину гриву попробуйте идти, все-таки ближе. В случае чего возвращайтесь, не валяйте

дурака. Кха... Моя благоверная поглядит за вашними птюшками, если что...

— Буду признателен. Корм в сарае, — сказал учитель и заморгал на солнце синими глазами.

Почтальон покачал головой, пошел к калитке и дважды оглянулся на него, пока спускался вниз и переходил мостики, перекинутые через канаву. Ему казалось, что учитель не в своем уме. Разве нормальный человек пойдет в самую распутицу? Жена бросила, не хотела жить здесь, теперь вспомнила, что есть муж...

«С этими бабами одна морока. Есть курвы...»

Через двадцать минут Шорин вышел из дома. За спиной у него был рюкзак, в котором лежали офицерская плащ-палатка, кусок сала, хлеб. В боковом кармашке брякали три патрона: забыл вытащить их после охоты на тетеревов.

Около леспромхозовского управления стоял «газик», заляпанный грязью до верха. В моторе копался шофер. Учитель подошел к нему и осведомился — не поедет ли он куда. Шофер поднял лохматую голову с заломленной на затылок кепчонкой и протянул:

— Чего-о? Машина на диффер садится, Главный бухгалтер хотел на участок проскочить... Еле выскочили. Почитай, на неделю дорогам крест. Вы куда?

Шорин ничего не ответил, повернулся, зашагал по бровке. На сапоги липла свинцовая глина. Низкие дома рабочего поселка блестели белыми крышами. У изгороди задумчиво стоял телок с отвисшей шкурой. Оля Рундукова несла на березовом коромысле ведро с водой. Увидев учителя, она покраснела, потупила глазки и поспешно свернула в проулок. Она уже гуляла с парнями и часто пропускала школу.

Солнце набирало силу, пекло в затылок. Шорин снял фуфайку, запихнул ее в рюкзак и сновя зашагал, высоко поднимая ноги. К вечеру он рассчитывал достичь реки,

чтобы засветло переправиться через нее, а там до шоссе рукой подать.

Началась лежневка. Временами он брел по колено в воде, нащупывая сапогами жерди. В низинах виднелись остатки снега. Птицы еще не успели обжечь сырой продрогший лес. Только светло тенькала синица и всрчала вода в канавах.

Дорога была избита, истерзана лесовозами. Деревья по краям дороги погибали: проходившие здесь трактора задевали гусеницами стволы, измочаленная щепа свисала ключьями. На теплых буграх лезла мелкая трава и кислица. Шорин наклонялся, срывал нежные лепестки и жевал их, чтобы перебить горечь табака во рту.

Он немного повеселел, успокоился, когда вышел на длинное болото, за которым начиналась грива, что тянулась километров на семнадцать в сторону реки. Там всегда сухо.

Продираясь сквозь болотную чашу, он ставил ноги под самые корни кустов, боясь провалиться. Хватался за жидкие ветки и переставлял ноги под другой куст. Прутья больно хлестали по лицу. Он морщился, оберегая глаза. Болото не отпускало. Оставалось каких-нибудь двадцать метров, кустики неожиданно кончились, ногу ставить некуда...

Возвращаться не было смысла, раз он столько прошел.

Из воды торчала тонкая сосенка. Хотел дотянуться до нее, но почувствовал, как почва заколебалась, уходя из-под ног. Он беспомощно огляделся — кругом вода. Сколько раз ходил тут с ружьем, а забыл, что нужно взять правее.

Опять выбрался к спасительным кустикам, заметил сломанные ветки. Было глубоко, но почва держала его вес. Сделал шаг и ухватил рукой тонкий хлыст, торчавший из болота, шевельнул сапог и двинул его на чет-

верть ступни. Держит. Даже вздохнул и смело переступил вправо. И начал считать шаги, следя за уровнем воды по голенищам.

Когда вылез на сухое место, руки дрожали. Солнце ярилось. Синий дым окутывал болото.

Он сел под сосну, блаженно жмурясь на яркий свет. С цыканьем пронеслись вальдшнепы, вытянув вперед шильца. И он пожалел, что нет с собой ружья, — срезать бы их седьмым номером. . .

Над гривой поднимался ветер, гнал синие волны воздушного потока. Деревья качались, пружиня корнями. Шорин задрал голову вверх и следил, как сыплются отжившие иглы. Казалось, что соснам нравится качаться на ветру — все-таки движение.

Он спустил голенища сапог до колен и встал на песчаную тропу. Идти было легко. Изредка встречались валуны, изрезанные старческими морщинами. После холодного утра камни потели. Летом здесь уйма борových грибов. Леспромхозовские бабы брали одни шляпки.

Становилось прохладно. От болот веяло изумительной свежестью. Идя по крепкой тропе, Шорин вдруг вспомнил, какое у жены было несчастное лицо перед отъездом, когда она сидела на табурете у синей стены, и его охватила внезапная тоска.

Он отмахал по гриве километров десять, поднялся на гору, где стояла геодезическая вышка. Отсюда уже были видны совхозные поля, крошечные домики у переправы. До них оставалось часа три хорошего хода. На горе росли красные сосны, возвышаясь, как колонны в храме, каждый ствол был виден в отдельности.

Ноги стали тяжелеть, сапоги цеплялись за кочки, мелкие камни.

Перед оврагом он сел под могучую ель, сжевал бутерброд с салом и задрал распухшие ноги на пень, чтобы кровь оттекла от ступней. В тепленькой прорехе под

елью толклась мошкара. Опять пронеслись вальдшнепы, гоняясь друг за другом. Тут недалеко были тока косачей, и охотничий шалаш находился слева от овражка.

Шорин поднялся и пошел вниз. Тропа оборвалась у черного леса. На осинах виднелись клочья звериной шерсти, прошлогодняя трава была примята — лежка лосей. Переход где-то здесь.

Морщась от сильной боли в коленках, Шорин остановился, выдернул сухостойку, ножом выстругал из нее примитивный шест и по бревну перешел на ту сторону. Впереди было еще два ручья.

«Интересно, сколько там воды», — подумал он, не выпуская из рук шеста.

Показался ручей. Бревен тут не было, нужно искать брод. Шорин потоптался на берегу, выискивая пологое место, — везде было одинаково. Тогда он сел на качающуюся кочку, спустил сапоги в воду. Течение нажимало. Стукнул шестом в дно — метр, не больше. Он перевернулся на живот, сполз и встал на ноги, ощущая холод ледяной воды через резину сапог. Он боялся, что течение собьет с ног, двигался осторожно, крепко втыкая шест в каменное дно. Вода неслась с коричневыми клочьями пены. Выбравшись на крутой берег, он снова лег.

Погода портилась. На небе появились темные облака. Солнце мощными столбами прорывалось сквозь них. Шорин опять думал о жене. Как-то она сварила немислимый обед. Он отодвинул тарелку и сказал: «Я не хлебаю помой». — «Ничего, милый, съешь, не привередничай».

Он, действительно, съел. Она вообще ничего не умела делать и обладала притом чудовищным самомнением и ложным интеллектом. Он пробовал воспитывать ее, подсовывал ей книги. Она не могла осилить ни Тацита, ни Плутарха, находя их занудными. В ее голове был полный сумбур, рассуждала парадоксально, — например, что вся-

кая доброта служит для того, чтобы ею пользовались другие... Он многое ей прощал, терпеливо учил. Теперь, когда она уехала, понял, что был к ней слишком суров, требователен. Ну и что из того, что она не умела заштопать фуфайки? Жить с ней рядом — этого вполне хватало для счастья...

«Ах, черт побери, пойду еще немного».

До совхозной дороги было порядком. Под ногами короткими перебежками шмыгали черные полевки, словно приветствуя его. Одна мышь умывалась на кочке, вздрагивая на ветру тонким носиком, потом зевнула, как ребенок. Здесь было мышиное царство — нор полно. Он обшел их, чтобы не нарушить гармонию ходов: земля тут осыпалась.

Второй ручей был не такой бурный. Ноги в коленях плохо сгибались, и Шорин с трудом слез в коричневую воду, померил дно — было слишком глубоко. Он огляделся и увидел камень, скрытый водой, второй торчал посередине, дальше шел завал из доломитовых плит, подходивший почти под самый берег. Это ему было на руку. Главное — добраться до середины. Он выбрался на подводный лоб, упираясь шестом в расщелину, и, сделав слишком широкий шаг, оскользнулся и рухнул в воду. Пока выкарабкался на плиты, одежда намокла, в сапогах — полно воды. Холода не чувствовал, но было неприятно. Ему и раньше приходилось принимать ледяные ванны, и всегда находил выход из положения.

Солнце клонилось к закату. Среди валунов он выискал яму, натаскал туда сучьев и настрогол мелкой стружки.

Одно плечо у фуфайки оказалось достаточно сухим. Он снял ее, отжал, распорол сухой шов и вырвал оттуда клок ваты. В спичечном коробке было коричневое месиво. Нечего и думать, что они загорятся, даже если их долго сушить на слабом солнце. Он, когда уходил из дома в

лес, всегда заворачивал спички в специальную резинку, а тут сплеховал, забыл начисто.

«Чего-нибудь придумаем», — решил он и, выискав плоский камень, достал латунный патрон. Пыжи были залиты парафином, он надеялся, что порох не подмок.

Разрядил два патрона, дробь положил в карман, а порох высыпал на теплый камень. Потом осторожно выковырял зеленый капсюль, засыпал его порохом и сверху положил клочок ваты. Для верности нашелушил еще тончайшей бересты и, наставив тупой кончик ножа в середину капсюля, слегка стукнул по рукоятке. Капсюль щелкнул, выбросил короткое невидимое пламя. Вспыхнувший порох опалил ладонь, вата загорелась, поджигая бересту.

Скоро огонь пылал. Теперь можно заняться одеждой. Он распылил фуфайку на колья, сапоги поставил к камню стоймя. Из раструбов повалил пар.

Шорин с удовольствием щупал босыми ступнями теплые иглы, прошлогодний лист, прикидывая, сколько еще осталось топтать: километров восемь, не больше. Река недалеко. Совхозные поля подходили к ней. Одно поле было распаханно, по нему бродили голодные чайки. На северном берегу лежал снег. Ароматный дым костра уносило ветром.

«Совсем хорошо, хоть раздевайся», — подумал Шорин, добавляя хворосту в огонь. Можно было сделать нодью и спать в этой яме до утра. Он снова думал о жене, возвышаясь до тоски, вспоминал ее печальную походку.

Он заторопился, не дав досохнуть одежде, раскидал головни по камням.

Наверху ветер крепчал, Шорин сразу почувствовал его силу и шел согнувшись, привыкая к дороге, что огибала поля. Можно было сократить путь, пересечь пахоту,

но он не мог позволить себе такой роскоши: ноги плохо слушались, правый сапог жал в подъеме. Учитель поймал себя на мысли, что сейчас похож на своего отца, который всю жизнь проработал агрономом, и когда он приходил с полей, то походка у него была такая, будто он только что слез с огромной лошади, проделав двухсотверстный путь. Шорин не любил отца за грубость, за эту кривоноготь.

«Как я был глуп», — подумал он и оглянулся.

Геодезический знак накрыла темная туча. Но солнце еще не зашло, была надежда засветло дойти до переправы, лишь бы найти лодку...

«Брешет почтальон, найду лодку!»

Показались печные трубы, торчавшие, как после пожара. Избы были разорены, перевезены на центральную усадьбу, только у самой реки лепились пять домов. Казалось, там никто не живет. Но Шорин знал, что оставшиеся старухи смотрят на него из-под занавесок. Он постучал в первую дверь и крикнул:

— Есть кто дома?

В ответ послышалось глухое бормотание, скрипнула дверь в сенцах. На порог выползла дребезжащая старуха в козлином платке и внимательно оглядела пришельца тусклыми глазами.

— В изобку заходи, парень.

— Нет, бабушка. Переехать надобно. Не подскажете, у кого лодка?

— Нету касатик, разве что у последней Марфы... У ей челнок. Только она ноне не в себе, более...

— Как это у «последней»? — не понял учитель, стараясь не глядеть на бедную старуху. На вид ей было лет девяносто.

— Последней, последней, — упрямо повторила она. — Три померши, она вот крепкая... Рыбу ловит сама. Сходи, может и дать... — Старуха показала рукой на дом под новым шифером. — Ты откуда взялся?

Шорин сказал. Старуха не поверила:

— Ох, брехать горазд, парень. Птица не пролетит отсюда. Трактора твоего не слышно...

— Да я пешим...

— Ох, такую даль занесло. Мы, почитай, две недели живого человека не видывали. Куда на ночь поплывешь? Ну, иде, иде, пока Марфа спать не легла...

Старуха спустилась с крыльца, но дальше не пошла. Ветер продувал ее насквозь. Держась за изгородь, она заспешила в дом.

Ни магазина, ни почты здесь не было. Покосившиеся столбы еле держались в жидкой почве, вот-вот упадут, и тогда старичье останется без света.

«Как они живут? Начальство-то что думает? А черт!» — выругался Шорин, топая по раскисшей дороге.

Крикнул простуженный петух. Солнце бросало заходящие блики на стылую реку. На том берегу был виден паром, стоявший на приколе, толстый трос уходил под воду. В будке паромщиков ставни были заколочены. Вода несла с верховья отдельные бревна, навозный мусор с соломой, смытый с полей. Под берегом ныряли две гаги.

Он вошел во двор указанного дома. Здесь был полный порядок: дрова аккуратно сложены в круглое кострище, в углу стояли козлы с недопиленным бревном — в резе торчала финская пила. В дверях сарая виднелись остатки сенной трухи. Желтая от старости коза стучала рогами в стену. Там шевелилась рослая женщина. Она вышла, держа в руках мокрое ведро. Ее жилистые ноги без чулок были засунуты в резиновые сапоги. Лет ей было шестьдесят или семьдесят, и Шорин не решался назвать ее Марфой.

— Послушайте, вы не дадите лодку? Паром не ходит.

Суровое лицо Марфы не предвещало ничего хорошего.

— Нет у меня лодки.

— Ваша соседка сказала, что есть... — растерянно проворкотал учитель.

— Мало ли что скажут. Нет, и весь сказ.

Она повернулась уходить, держа на отлете ведро, качающееся от ветра.

— Честное слово, хорошо заплачу. — Он полез в карман.

Марфа обернулась. Глаза у нее были красные, как у кролика, и слезились.

— Не нужны мне ваши гроши.

— Слушайте, у меня жена заболела, телеграмму прислала. Поверьте, — заискивающе сказал Шорин, переминаясь тяжелыми от налипшей глины сапогами.

— Значит, жена заболела?

Он кивнул.

— Не могу доверить лодку чужому. Чего доброго угоните, она денег стоит...

— Что вам бояться? Перевезете, и обратно. Полчаса, не больше...

— Вот еще. Мне руку нарвало, не согнуть.

Она пошевелила грязными пальцами.

— Перстень дашь, так бери...

Шорин снял с левой руки перстень с плоским камнем, молча протянул его последней Марфе. Она усмехнулась, взяла и стала рассматривать.

— Дорогой, дорогой, не сомневайтесь, — заторопился Шорин, сдерживая себя, чтобы не сказать: «Да подавись им...»

Хозяйка задрала полу засаленного ватника, положила перстень в карман.

— Лодка на берегу, весла под навесом.

Шорин взял весла, закинул их на плечо и пошел к мутной реке.

Смеркалось. Перевернутая плоскодонка лежала далеко от воды. В грязи валялась банка с остатками гудрона и квач: лодку недавно смолнили.

Учитель сбросил весла и перевернул лодку на днище. Она была очень тяжелая от смолы. Попытался сдвинуть ее, но днище всосалось в грязь. Он выругался и нашел под забором длинный кол, чтобы действовать им, как рычагом. Дело пошло.

Наверху маячила Марфа, смотрела, как он мучился с этим допотопным корытом.

Лодка плюхнулась в воду. Шорин отдышался, снес весла и поднял с земли свалившуюся шляпу. Пошел мокрый снег.

Хозяйка спустилась к реке и заглянула в лодку, будто хотела убедиться, не захватил ли он чего лишнего.

— Не беспокойтесь, верну вашу лодку дня через два, — сказал он недружелюбно.

— Перстень свой заberi, не годится.

— Оставьте на память или зятю подарите...

— Вот еще выдумал, нет у меня никакого зятя...

— Ну, продадите...

— Я думала, ты пройдимец... Позавидуешь твоей жене. Прямо не верится, кому сказать... Заberi, — тупо повторила Марфа.

— Считайте, что он ваш, — заупрямился учитель и сдвинул лодку на глубину.

Вдруг Марфа опустилась перед ним на колени.

— Возьми. Не бери грех на душу...

— Вы что, спятили? Встаньте сейчас же, — опешил учитель.

— Не встану, пока не возьмешь, — закричала последняя Марфа и вытянула вперед руки.

— А черт! — Он обошел лодку, взял злополучный перстень, сунул его в карман. Женщина поднялась, утерла длинный рот платком и, сгорбившись, пошла сквозь снежную завесу. Дранные сапоги хлопали по ее голым ногам. Учитель долго глядел вслед. Ему было стыдно, что старый человек унизился перед ним.

Уже стемнело, и другой берег был невидим. Лодка двигалась тяжело. На горе зажегся огонь, он правил на него. Снег валил не переставая. Он бросил весла, надел плащ. Мощным течением лодку сносило. Шорин боялся, что прибьет к обрыву: там некуда вытащить лодку, поэтому греб нанскось реки. Ноги упирались в какую-то планку, и гребки получались сильные. Он откидывался всем телом, гнал лодку к угрюмому берегу. Вода плескалась за бортом. На середине реки ему было очень одиноко. Лодку крутило на фарватере, огонь то исчезал, то выскакивал в другом месте. Снег таял на лице, перемешиваясь с потом, катившимся из-под шляпы.

Лодка ударилась обо что-то твердое, качнулась. Туча прошла, подул ночной ветер.

Шорин вылез в мелкую воду и вытащил лодку на пологий спуск. Парома было не видно. Он спрятал весла в кусты и медленно пошел в гору. Сапоги с чавканьем разъезжались в жидкой глине. Он запутался в длинной плащ-палатке, упал в грязь. Поднялся, чувствуя, что уже нет сил, но помыл руки мокрым снегом и снова двинулся вперед.

В домах горел заманчивый свет. Здесь можно было переночевать, утром дойти до шоссе. Деревня находилась немного в стороне, он решил идти напрямик.

В просвете туч выскочила бледная луна. Учитель даже заметил былинку, стонущую под ветром. Снегу навалило прилично. По шоссе с воем промчался грузовик.

Чувства притупились, Шорин уже не осознавал реальности своего существования, просто шел.

У знака поворота он остановился, поднял руку, отяжелевшую от длинного перехода.

Машины не останавливались. Из-под колес фонтанами летело снежное месиво. Он ждал минут сорок, надеясь остановить какой-нибудь транспорт, даже снял измызганную плащ-палатку и засунул ее в котомку, чтобы не пугать водителей. Из-за поворота блеснули фары.

Он простер руки, раскрыл рот, уже ничего не соображая, выбежал на середину шоссе. Динко взвизгнули тормоза. Машина пошла юзом, вильнула, подпрыгнула на обочине и встала как вкопанная.

Дверца распахнулась, на дорогу выскочил разъяренный человек в поролоновом тулупчике.

— Ты что, болван, лезешь под колеса?

Вслед за водителем вылез человек с фонарем. Яркий луч хлестнул по глазам. Шорин зажмурился, согнал с лица деревянную улыбку.

— Слушайте, выключите фонарь, я ничего не вижу...

— Что тебе надо видеть, любезный? — процедил водитель.

— Я спешу в город. Никто не останавливается... Очень сожалею, что так получилось. Я не хотел...

Фонарик погас. Шорин пригляделся. Тот, что вылез вторым, поправил на груди фотоаппарат с вороненой насадкой и презрительно плюнул:

— Вот кадр, я понимаю.

— Я заплачу. — Шорин вытащил из кармана слипшиеся деньги.

Человек с аппаратурой восторженно засмеялся и красиво помахал руками, как делают спортсмены после разминки.

— Хочет дать нам заработать... Да мы тебя за тыщу не возьмем, понял? От тебя навозом несет. После тебя машину нужно проветривать двое суток, прощелыга. Нализался, глаза в куче... Поехали, Станислав.

Щелкнули дверцы. Лимузин буксанул, поднял широкую бульдожьё морду, освещенный, как корабль, вырвался на шоссе. Все стихло.

Шорин немного постоял в темноте. Он сознавал, что поступил дурно: машина могла перевернуться, дорога скользкая. Приняли его за пьяного, — ладно, по физиономии не дали, были бы правы...

Но ему было обидно. Лучше бы его изматерили по-своему, чем так.

Он сел на придорожный камень, перемотал портянки и снова встал на дороге.

Мчалось какое-то чудовище на колесах, целая башня. Габаритные огни горели очень высоко. Догадался, что идет тандем «Совтрансавто». Они никогда не останавливаются, хоть ляг на полосу. Двигатель работал с надсадным ревом в гору.

Шорин прижался к обочине, без всякой надежды вытянул руку, показывая большой палец в землю. Обдало горячим выхлопом, водяной пылью.

— Керосинка проклятая! — в сердцах выругался Шорин.

Рокот мотора вдруг смолк, он услышал крик:

— Эй, парень, чего стоишь?

В город добрались к утру.

Чистое умытое солнце поднималось из-за домов. Ветра как не было. Кошмарная ночь осталась позади. Рейсовые автобусы еще не ходили. Выпавший снег таял, в сточные люки бежали веселые ручьи.

Шорин миновал безлюдный парк, где шел под сводом набухших ветвей, тополиным тоннелем. Пахло распускающимися почками. По аллее с деловым видом ходила хромая ворона. Шорин тоже хромал растертой ногой и, глядя на птицу, повеселел, вспомнив старую поговорку: «До чего нельзя долететь, нужно дойти хромая».

В красных кустах встряхивались воробьи. После бессонной ночи все казалось зыбким, нереальным: летняя эстрада, будочки касс, павильоны.

Он вышел из парка. Между домами густо висли провода. Прошел первый троллейбус, щелкая старыми покрышками по асфальту. Город просыпался. Ожидая молочную цистерну, на углу стояла очередь с белыми би-

донами. Шорин свернул в улочку. Он не знал, дома ли жена или в больнице, но ключ у него был при себе.

В прихожей дурно пахло знакомыми духами, дорогими сигаретами. Он скинул мешок, сбросил затрапезную фуфайку и зажег гулю светильника перед зеркалом. Мельком глянул на себя: небритый, красное, грубое от загара лицо, пепельно-рыжие волосы слиплись, от шляпы набухшая полоса на лбу... Он был некрасив, это понял еще в детстве, и, будучи уже взрослым, махнул на это рукой. Ведь время делает наши недостатки более терпимыми...

Он тихо открыл дверь, вошел в комнату, озаренную весенним солнцем, рвущимся сквозь тюль. Жена сгала, свернувшись калачиком. Легкий румянец играл на ее щеках.

«Пусть спит», — подумал он и опустил на стул у двери.

Жена открыла глаза, с испугом села на кровати, поджав под себя ноги.

— Ой, думала, ты мне снишься. Хорошо, что приехал. Я тебя ждала завтра. Ты на поезде или на автобусе? — Она провела ладонями по кружевной сорочке.

— Прилетел... — хотел сказать «на крыльях любви», но передумал. — Ты заболела?

— Немножко. Потом расскажу... Это Ритка придумала. Мне было так грустно без тебя, хоть вешайся... У нас спор с ней вышел. Она сказала, что ты не приедешь, дорога плохая. Мне так хотелось тебя видеть, сказать...

— Что сказать?

— Ничего... Мы пошли и дали телеграмму. Не сердись, милый, глупо, конечно... Ох эта Ритка...

Шорин тупо уставился на свои тяжелые сапоги и подумал, что что-то изменилось, он не понимал что, но чувствовал, как она удаляется от него, и ничего не мог сделать. В голове не укладывались ее слова.

Он с трудом стянул сапоги, поставил их у двери. Жена зевнула, опухшие после сна веки ее слегка дрогнули.

— В Доме офицеров выступает московский гипнотизер. Психологические опыты... Слышишь, что говорю? Рита рассказывала: все сидят как кролики. Взгляд у него ужасный. Одна дура прислала ему записку: «Когда я выйду замуж?». Представляешь? Знаешь, что он ответил? — Жена фыркнула, весело засмеялась. — «Покажите мне свое лицо, я вам точно скажу». Вот... Ну не дура ли?

Она снова засмеялась, откинула пышные волосы. Ее поджатые колени глядели на него, как два спиленных ствола.

Он стянул свитер, повесил его на стул, ничего не ответил. Лицо у него было по-прежнему тупое, ничего не выражало. Жена обиделась.

— Ты совсем деградировал в своих болотах. Ничем не интересуешься... Господи, на кого ты похож? Прими ванну.

Она соскочила с кровати, босиком прошла по солнечному полу и стала одеваться. Она знала, что муж любит смотреть, как она одевается, поэтому не спешила, аккуратно разглаживала каждую складку и настороженно следила за ним. Он видел, что она наблюдает, и закрыл глаза.

Когда она надела яркое праздничное платье, он крепко спал, сидя на стуле.

— Спишь, что ли? — окликнула она.

Он не ответил. Из его ослабевшей руки выпал какой-то круглый предмет и покатился по гладкому полу.

Она подобрала его. Это был перстень, который он никогда не снимал с руки в память о брате, погибшем в Арктике.

Она ничего не поняла, положила перстень на стол, потом нечаянно глянула на ноги спящего мужа. В ее лице что-то дрогнуло.

Командировка на Север



Теплоход уходил на шесть месяцев в дальнее плавание. Александр Корольков списался с судна, чтобы в августе сдать экзамены в Институт водного транспорта.

По закону идти в отпуск было рано. Инспектор отдела кадров предложил командировку на Север, куда по своей охоте никто не соглашался ехать в такое время года.

Подолгу бывая в рейсах, Корольков отвыкал от родного города: все время куда-то тянуло. Вот и сейчас решил поглядеть на людей. Дома он натер полы, сменил занавески, постельное белье, вложил в портфель две свежие рубашки, пасту, электробритву и поехал в аэропорт. Там получил заказанный билет и вышел на свежий воздух.

Самолет с закопченными мотогондолами уже стоял на бетонке. Механики вынимали из сопел красные заглушки. По крылу ходила женщина-заправщик и наполняла топливные баки холодным керосином.

Людей в ту сторону летело мало: группа студенток на практику, железнодорожная комиссия с колесами и шевронами на рукавах, растерянная старуха, несколько командированных, жены моряков и девушка с сумкой через плечо.

Пассажиров пустили на поле. Студентки сгрудились на трапе. Корольков ожидал, когда рассосется очередь. Девушка с сумкой улыбнулась ему. Лицо у нее было какое-то беззащитное. Через всю щеку светилась голубая жилка. Корольков невольно кивнул попутчице, как старой знакомой.

Лету было два часа с половиной.

Девушка, сидевшая впереди, оглядывалась на Королькова, он не придавал этому значения.

Сели благополучно. Бортпроводница отдраила двери, снаружи подкатили трап. Пассажиры стали спускаться по одному, уже без спешки.

Темнело. В чужом, холодном поле было неуютно.

Корольков вышел к стоянке такси, разговорился с любопытной девицей. Звали ее Таня. Пожаловался ей, что прибыл в командировку, знакомых ни души.

— Везде люди, освоитесь, — успокоила она. — Сходите в наш драмтеатр, на выставку местных художников. — Она вздрагивала от порывов сырого ветра. Одета была в легкое драповое пальто, на голове — шапочка крупной вязки, надвинутая до бровей.

Очередь двигалась медленно. Визжали тормоза такси.

Он заслонил Таню от ветра. Она засмеялась:

— Ой, мне же на вокзал. Опоздаю на поезд...

— Я думал, в центре живете. Сходили бы в кино с вами...

Таня неожиданно обрадовалась и так открыто посмотрела ему в лицо, что он смутился, закурил папиросу.

— Приезжайте в гости. Буду рада, — сказала она и объяснила, как добраться до поселка, где жила и работала фельдшерницей.

Корольков пообещал, хотя ему вовсе не светило ехать в такую даль. Они заняли одну машину. На крутых поворотах Таня прижималась к Королькову, и он решил, что стоит съездить.

У вокзала девушка вылезла, помахала рукой.

По ленинградским понятиям, город был небольшой. Скоро шофер затормозил дребезжащую «Волгу».

Гостиница была нафарширована спортсменами, прибывшими из области на соревнования. Администраторша, грузная молодящаяся особа с сильно напудренным лицом, повертела паспорт. Бобровый воротник Королькова произвел на нее впечатление.

— Специально для вас есть изумительная комната,

Будете жить один, как король. . . — засмеялась, довольная своим каламбуром.

Корольков холодно улыбнулся, взял ключ и поднялся на второй этаж. В номере-люкс было широкое ложе. Скрипучий паркет застилал дагестанский палас, исчерченный стрелами. Драпировка на окнах пахла дорогим одеколоном. Видно, здесь останавливались злетные знаменитости. Пепельницы и графин были чистенькие.

Корольков оставил портфель, спустился поужинать. Кафе было рядом с торговым портом. К стойке подходили краснолицые от морского ветра грузчики, тальманы, лоцманская служба, матросы с буксиров.

Корольков выбил бифштекс, кружку пива, в дальнем углу нашел место. За перегородкой находилась посудомойка. Там шевелилась какая-то мокрая женщина. От людского гомона, спертого воздуха разболелась голова. Он вернулся в гостиницу, принял две таблетки димедрола, разделся и лег, но долго не мог уснуть. По коридору топали энергичные легкоатлеты. Казалось, за дверью ходит огромная лошадь. Из плафона торчала лампа, похожая на огурец.

По дурной морской привычке он курил в постели и размышлял, что по окончании института жить на берегу все равно не сможет, будет плавать, состарится в море. Ему уже тридцать шесть, своей семьи не завел, а мать давно умерла. Никто не будет ждать, встречать и тосковать. Оно и лучше. . . Он скорчился под прохладными простынями, в забытьи вспомнил живые глаза Тани.

Утром поднялся разбитый, вялый: вероятно, его просквозило на аэродроме. Оделся тепло, пошел в кафе.

Сейчас здесь было пусто, светло. Весеннее солнце пронизывало синие стекла, отражалось в никелированном кипятильнике. Две школьницы в белых передниках завтракали около холодильника и стреляли глазками.

Корольков взял кофе с булочками, поел и пешком двинул в управление.

Через три дня он обжился, вечерами гулял по главной улице, шатался в порту, глядел на пароходы. Сердце щемило от запаха мокрого зюйда. Тянуло в море. В театр и на выставку Корольков так и не попал.

Однажды он не пошел в гостиницу, ночевал у знакомого боцмана, с которым когда-то делал рейс в Гавану.

С каждым днем становилось теплее. Ощущалось мощное дыхание Гольфстрима. Весна была ранняя. Снег сошел. Над домами летали чайки. Деревья уже загустели, но листьев еще не было. Люди ходили без пальто, готовились встречать праздник. Город наряжался в красное.

Пора было улетать. В последний день взбрело в голову увидеть Таню. Где-то в подсознании сидела эта мысль.

Придя из управления, он тщательно выбрился, почистил английские ботинки и поехал на вокзал, прихватив в портфель венгерского вина с набором дорогих конфет.

Тепловоз с тремя вагонами стоял на первом пути. Вагоны были старенькие, списанные с дальних рейсов. Состав мягко тронулся. Навстречу поплыли цистерны с мазутными боками, шлагбаумы, приусадебные участки с отопревшей землей. Через три станции Корольков вылез и оглянулся. На конце платформы маячила фигура женщины. У ее ног сидела понурая собака. Он подошел и спросил, где найти фельдшера.

Женщина вздрогнула, словно очнулась от невеселых раздумий. Глаза у нее были красные. Объяснила: нужно подняться на гору и свернуть через два дома.

Корольков поблагодарил и зашагал на тягун. В небе заливался вечерний жаворонок. По вязкой после ночного дождя дороге идти было трудно. Сладко пахло разбухшими березовыми почками. Справа был виден железнодорожный мост через реку, провода, висевшие над водой.

Желтый домик он нашел сразу, поднялся на крыльцо, стукнул в дверь. Она была не заперта. В распахнутых окнах горело солнце.

Никто не отозвался.

Тогда, насвистывая веселый мотивчик, он прошел через веранду и очутился в светлой комнате. Видно, хозяйка только что сделала приборку и куда-то исчезла. Было очень тихо. Голландская печь блестела изразцами. На стене висели часы в медном корпусе, старинный барометр с делениями на дюймы, полки с книгами. Налево стоял резной буфет, стулья, стол у окна.

Корольков посмотрел на свои грязные туфли, расстегнул портфель и выложил на стол целлофановый пакет.

В соседней комнате послышались мягкие шаги. Он обернулся. Дверная занавеска затрепыхалась от сильного сквозняка. На пороге появилась Таня и, ойкнув, закричала из-за двери:

— Извините! Ждала соседку, а это вы... Располагайтесь.

Корольков успел заметить, что девушка была в одной комбинации.

«Увалень чертов, — выругал себя Корольков. — Не мог подождать на улице со своим дурацким портфелем...»

Сел на стул, держа каблуки на половичке. В окно был виден поселок с высокими шестами телевизионных антенн у каждого дома. По канаве бегали свиньи, издали похожие на собак. Было тихо. Маятник шатался с мелодичным звоном. По раме ползал шмель.

Корольков не видел такого чудного шмеля лет десять: скитался в морях, чужих портах. Он дотронулся до бархатистой спинки. Шмель недовольно загудел, поднялся в прозрачный воздух. Из спальни доносилось шуршание, тугое шелканье резинок.

Наконец Таня вышла. Платье из серого шелка облегло ее легкую фигуру. На груди подрагивала металлическая цепочка с подвесками янтаря. Девушка выглядела неплохо. Он улыбнулся, и она смутилась, оправива

платье. Оно было коротковато, в таких ходили года три назад.

Королькову померещилось, что он уже видел эту манеру одергивания, поворот головы, тонкие руки. Но где?

Таня прошла по комнате, остановилась в дверях:

— Вы сидите... Я отлучусь на полчаса. Хотите, пойдете вместе...

Корольков встал, тупо соображая, куда понадобилось ей идти, раз приехал гость, но спрашивать не стал.

Они вышли. Улицу освещало вечернее солнце. Таня шлепала по лужам. На ногах у нее были резиновые сапоги. Она шла к реке, где стояло несколько домов.

Показался берег, продырявленный стрижами. Дорога висела над обрывом. Река была еще мутная от паводка.

Таня остановилась, ковырнула ногой ком глины. Он скатился к воде с желтой пеной. Здесь была небольшая площадка с врытой в землю скамьей. На дамбе рыбаки махали удилещами. В затоне тарахтел катер. Место было красивое. Девушка обернулась:

— Давайте посидим.

— Слишком прохладно от воды, — сказал Корольков и взял ее под руку.

Она испуганно убрала локоть:

— Не надо. Увидят.

— Кто?

— Люди. Разговоры пойдут...

— Не понимаю. Взрослая самостоятельная девушка — и боитесь сплетен. — Он усмехнулся. — У вас тут родственники?

— Никого у меня нет. Мама далеко, — она махнула рукой в направлении моста, по которому двигался поезд, — километров триста отсюда.

Вода блестела при низком солнце.

— Странно. Жили бы тогда в городе. Здесь пропадете, — сказал Корольков.

— Мне и здесь неплохо. — Она натянуто улыбнулась и стала смотреть на дамбу. Рыбаки вытаскивали белые сорог. С рыб текла икра и молока. Штаны удильщиков были вымазаны рыбьей слизью.

— Я была в отпуске в Ленинграде, у подруги. Она там замужем, — немного помолчав, сказала Таня. — Народу полно. Только в Эрмитаж сбегала. Суета и грохот. Мне не понравилось...

— Хотите сказать — лучше быть первой в деревне, чем второй в городе. Так, что ли? — сказал Корольков, чтобы приободрить ее, и спросил: — Вы здесь необходимы?

Таня махнула рукой:

— Ай, в сущности, никто из нас не необходим...

Она откинула волосы и пошла по дороге, даже не оглянувшись. Корольков догнал ее.

— Ну, это вы бросьте, — неуверенно сказал он.

В кустах порхала птица с загнутым клювом. У низкой конюшни ходила бурая лошадь, чавкая в грязи разбитыми копытами. Ребра у нее торчали, как обручи.

Таня подошла к изгороди, протянула руку:

— Клепсидра, миленькая.

Лошадь приблизилась, положила узкую морду на жердь.

— Настоящий мустанг. И кличка оригинальная, — ухмыльнулся Корольков.

Таня погладила лошадь по губам.

— Зря иронизируете. Это моя кормилица. Я на ней езжу в лесхоз, когда там кто болеет. Она меня не раз выручала из беды. Кличкой ее наградил мой коллега, которого я сменила. Он был дурной человек.

— Почему?

— Ну... Лошадь уже плоха... И он в насмешку выдумал кличку. Нехорошо это.

Таня вздохнула и отошла от изгороди. Корольков

оглянулся на животное, представил, как девушка сидит на этой скотине. Ему стало жаль обеих.

По дороге ковыляли два инвалида, махая палками. Один остановился и закричал хриплым голосом:

— Доброго здоровьица, Танюша! Никак к тебе гость пожаловал?

Таня вдруг покраснела.

— Гость...

— Ну-ну. — Инвалид недружелюбно зыркнул своими глазами на Королькова, повернулся и снова замолотил палкой по земле, нагоняя товарища.

— Хожу под прицелом. Авторитет потеряю из-за вас, — грустно пошутила Татьяна.

— Не потеряете, — пообещал Корольков.

Теперь она быстро шла к дому с зеленой кровлей. Корольков еле успевал за девушкой. Она обернулась:

— Подождите. К больной зайду. Уколы сделаю...

Она направилась под навес.

У забора лежали сухие бревна. Корольков сел на комель, закурил. По улице на мопедах со снятыми глушителями гоняли два подростка. Треск разносился километров на десять. Парни радостно гоготали, задирали ноги на глубоких колеях, заполненных коричневой водой.

Какой-то небритый мужик с пилой на плече, в измазанных глиной сапогах прошел мимо, ругнулся:

— Подлещики лохматые, башку оторвать мало. Технику гробят...

Он сплюнул, поддернул спадающие штаны и, мотая сгибающейся пилой, затопал к сельсовету, где краснели флаги.

Вечер был теплый. От бревен пахло смолой. Корольков тут же забыл сердитого мужика и этих варварски веселящихся подростков, думая, что приехал зря, встретил хорошего человека. У нее своя жизнь. Все не так просто...

«А наплевать, — решил он. — Посижу и уеду».

Она вышла через полчаса, держа на отлете покрасневшие руки, звонко закричала, будто обрадовалась, что он ждет ее под окнами:

— Ну вот, я свободна!

У Королькова кольнуло сердце.

«Где я ее видел? Волосы убрать на затылок...»

Он встал. Теперь Таня сама протянула ладошку. Он нежно взял ее. Рука у нее была ледяная.

— Ну как ваша подопечная?

— Ничего. Кризис миновал. Во вторник сидела у нее всю ночь. В город отправлять нельзя. Девочка очень слабая.

Татьяна шла с какой-то вымученной грацией. Корольков чувствовал ее напряженность.

В соседнем дворе стояла широколицая женщина и, приложив руку ко лбу, глядела в их сторону. Корольков поклонился. Она ответила кивком, присела и стала набирать из рассыпанной поленницы дрова в охапку.

У крыльца сидела кошка с узким слабым задом. Увидела чужого, убежала в траву на полусогнутых лапах.

Татьяна наклонилась, плеснула из низкой бочки на сапоги:

— Грязь непролазная. Мойте ботинки.

Искоса поглядывая на девушку, Корольков тоже начал мыть свои туфли.

Платьице у Тани съезжало с плеч. Девушка раскраснелась. Она выждала, пока он справился с обувью, и сказала:

— Знаете, вчера самолет видела. Почему-то решила, что вы летите на том же сиденье... никогда не вернуться. И вот вы здесь. Просто чудо...

Корольков с усилием засмеялся и стал говорить неправду: было много работы, вырваться не мог, сожалеет об этом.

Таня махнула рукой:

— Ой, да ну вас. Выдумываете.

— Первый раз в жизни чувствую себя так по-свински хорошо. Наслаждаюсь тишиной, такой воздух здесь... И вы... Я помолодел. Черт знает, что со мной творится... — бормотал Корольков.

Солнце зашло, катилось где-то под самым горизонтом. Таня обеспокоенно разглядывала гостя в сгустившихся сумерках и наконец ответила:

— Наслаждение опошляет человека. Грусть — святое чувство... Когда люди веселятся, ищут наслаждений, они ни о чем не раздумывают, то есть не бывают людьми. Как бы проще выразиться... — Она покрутила пальцами. — Человек должен думать, иначе он что-то другое...

— Ну вы даете, Таня. Нельзя все время думать. Откуда выкопали такую теорию? — возмутился Корольков.

Таня грустно посмотрела на него и ничего не сказала. Сумрак заволакивал поселок. На реке клубился туман. Корольков сел на перила с отполированными сучками, думая, что совершил какую-то оплошность, чего нельзя было делать.

Девушка вынесла самовар, быстро разожгла. Из его трубы с тихим гулом вырвалось синее пламя.

— Караульте. Я накрою на стол.

Через открытую дверь Корольков видел, как Таня включила свет, выставила посуду и все время оглядывалась, словно боялась, что он уйдет в темноту, хлопоты ее будут напрасны.

Вскоре они сели за стол. Таня разлила вино, плеснув себе чуть на донышко:

— Будем пировать.

— Мне побольше. Трясет что-то, — весело сказал Корольков.

И правда, он ощущал недомогание с первого дня, как приехал.

За окном завывала собака. Звук был высокий, раздражающий.

Таня прикрыла раму и пожаловалась, что собака воеет каждую ночь, спать не дает. Хозяин умер на прошлой неделе. Собака ничего не ест. Соседка водит ее прогуливать километров по десять в день. Собака все равно не ест. Подохнет...

Корольков кивнул, вспомнив женщину с красными глазами:

— Я видел их, когда шел сюда...

Кто-то крикнул на пса. Вой утих, только мелодично похрустывали часы. Татьяна стала рассказывать о себе. Третий год живет на квартире у Елены Ивановны. Она уехала повидать сына. Он служит офицером. Елена Ивановна преподает литературу в местной школе.

— Господи, какая я была беспросветная дура... Вы не представляете, Саша. Она меня многому научила...

Корольков в душе обрадовался, что учительница уехала, отпадают лишние сложности. Он откинул голову, поднял рюмку:

— За вашу мудрую наставницу!

Не уловив иронии, Таня улыбнулась.

Они выпили. Но что-то не ладилось. Корольков чувствовал себя скованно. В другое время наговорил бы, а тут сидит, как последний мальчишка, боится прикоснуться, словно Таня ему сестра.

— Ну что же, Саша, ничего не едите? — Она подвинула горячую картошку с крупно нарезанным луком.

Корольков взял себя в руки, приосанился, стал холоден, заговорил о жизни. Что редко ходит по земле, месяцами трудится в море, семьи нет. Выпадают удачные дни, когда кажется, что счастлив. Оглянешься — никого рядом, кроме испытанных друзей, мужского братства.

На Танином лице дрожала мучительная улыбка. Корольков воодушевился. Хотя было жестоко с его стороны, стал вязать паутину, похожую на правду. Даже правдивей, чем сама правда. Это всегда потрясает слабое женское воображение, как он понимал.

Под горой громыхнул поезд. Таня испуганно глянула на настенные часы в медной оболочке, облегченно вздохнула:

— Ой, думала, последний. — Она суетливо налила чай, подвинула сахарницу с конфетами. Призналась: — Господи, увидела вас в аэропорту, сразу подумала: вы не такой, как все. . .

— Интересно, — польщенно усмехнулся Корольков.

— Ну, понимаете, раньше мне казалось: нет на свете человека, на которого хотелось бы оглянуться. Идти и оглядываться, идти и оглядываться. . .

— Фантазируете, Танечка. . .

— Нет, я говорю правду. Вы хотите казаться другим. В вас сидят два человека. Маска приклеилась, приросла, а на губах скрытая душевная боль. . . Я правду говорю, — упрямо повторила она.

Корольков помял лицо ладонями, встал и прошелся по комнате. Половицы скрипели.

— У вас есть аспирин? — глухо спросил он.

Таня поднялась из-за стола, принесла таблетки на блюдце.

— Вы больны?

Прозрачная луна в окне освещала легкие арки облаков. Королькову хотелось обнять девушку. Но руки не поднимались.

Он стоял на неровном полу, и ему казалось, что стоит на льду, очень холодном, скользком. Мышцы болели от напряжения, так он боялся упасть, грохнуться. . .

За окном опять завывала собака. Будь оно неладно.

— Да, я простудился, — признался Корольков. Теперь он вспомнил все отчетливо и заговорил, чтобы избавиться от невыносимой тяжести, накопившейся за эти годы: — У меня была девушка, Лида. . . Давно. Любимая. . . Я с первой минуты почувствовал страх, что потеряю ее. В то время глядел на людей, и мне казалось, что видел их не раз, будто живу вторую жизнь. И ее я видел

в той жизни и потерял, и меня послали искать ее снова. Такое состояние. Перед расставанием Лида твердила: «Не уходи, я умру без тебя...»

В тот рейс ушел с тяжелым сердцем. Полгода меня не было. Я дал несколько радиограмм. Ни на одну ответа не получил. Меня встретила ее подруга. Завела в комнату — они жили вдвоем, — выставила бутылку водки, усадила и сказала: «Пей. Пока все не выпьешь, ничего не скажу».

Я понял, что она не скажет. Выпил, но был трезв как стекло. Тогда подруга достала ворох радиограмм, вывалила на стол. Вещи Лиды были на месте, на спинке кровати висело ее любимое платье.

Я не знал, что думать. Лицо подруги было непроницаемо. И я решил, что Лида полюбила другого. «Где она?» — заорал я. «Далеко, — сказала подруга. — Так далеко, что не достать». Она выскочила за дверь и привела другую девушку. Та была спокойней и стала объяснять, что в городе ходила эпидемия тяжелого гриппа. Лида заболела...

Корольков замолчал и сипло добавил:

— Думал, забыл ее. Увидел вас... — Он махнул рукой и отвернулся.

Таня сдернула со стула черный платок с яркими розами, нервно укутала плечи и вдруг заплакала.

Наступило тягостное молчание. Корольков был взволнован и сказал:

— Простите, я вас огорчил. Я выйду, Таня.

На улице было темно. Луна скрылась за облаком. На дамбе горели рыжие костры рыбаков. Оттуда тянуло прохладой. Корольков постоял, успокоился. По шоссе проехал грузовик. И было слышно, как компрессор со свистом засасывал воздух. Из низкой травы глядели зеленые глаза кошки.

«Охотится», — подумал Корольков и вошел в дом.

Самовар уже остыл. Таня тихо сказала:

— Опоздали на последний поезд. Я вам постелю на веранде. Утром разбуду.

Девушка вынесла одеяло, простыни с подушкой, застелила оттоманку. И, опустив голову, молча ушла к себе.

Корольков открыл дверь, чтобы свежий воздух тек на веранду, потушил свет, разделся и лег.

Среди ночи к нему под одеяло залезла кошка. Она была вся мокрая от ночной росы. Он ее не выгнал. Она скоро согрелась, прижалась к его ноге и казалась очень длинной.

Он не мог уснуть. Кошка мурлыкала, ласково впираясь когтями. Он вспомнил, что в детстве у него был злой котенок. Когда его брали на руки, было ощущение, словно берешь моток колючей проволоки. «Эта кошка нежная. Приятно как она покалывает, — думал Корольков — и вдруг решил: — Все равно не усну. Пойду пешком. Рассчитаюсь с гостиницей, улечу вторым самолетом».

Стараясь не тревожить кошку, оделся, зажег спичку, вырвал из записной книжки листок и написал: «Таня, я ушел. Мне тяжело. Не сердитесь напрасно. Вы добры. Буду помнить Вас в этой и последующей жизни... Простите». Он подумал, вычеркнул: «последующей».

Ночь была без ветра. Он спустился к станции. Блестели рельсы, отражая огни выходных стрелок. У будки обходчика стояли потные березы. По щебенке идти было трудно. Ноги соскальзывали с камней. Он сошел под насыпь. Послышался шум поезда. Товарняк с грохотом пронесся мимо, обдал вихрем. Навстречу шел другой. Они шли один за другим, был их час.

Луна скрылась. Ночь была темная. Корольков ослеп от локомотивных прожекторов. Лицо хлестали мокрые придорожные ветки. На небе, среди звезд, царил свой неизменный порядок. Вдали светилась станция, накрытая туманом, оттуда катился железный гул.

Лягушонок



Мы шли по выбитой тропе, засыпанной хвоей. Инна держала меня под руку. На тропе сидел лягушонок. Ему было колко на иглах. Инна вскрикнула, прижалась ко мне. Лягушонок рассматривал нас холодными глазами. Мне было приятно стоять, обнявшись с этой юной девчонкой, и слышать ее ребрышки. Я подумал, что она сделала это с умыслом, а вовсе не испугалась паршивого лягушонка. Получалось нехорошо: в конце концов, она прекрасно знала, что я люблю ее сестру.

— Долго мы будем стоять? — спросил я довольно грубо.

Лягушонок уже ускакал. Над нами висела еловая лапа, полная серебристых капель. Инна дернула за колючую ветку. Градом посыпались капли. Я разозлился и поцеловал эту дерзкую девчонку в губы. Она не удивилась, — видно, все было рассчитано. На всякий случай она спросила:

— Зачем вы так?

— Отомстил за ваше легкомыслие, — ответил я и выпустил ее на сырой мох. Белая кофточка Инны промокла, липла к покатым плечам. Сквозь тонкую матерью просвечивали розовые соски.

Я прохрипел:

— Пойдем дальше.

Она отбежала от меня, вспрыгнула на старый пенек с ловкостью, насколько позволяли пружинящая земля и тесная юбка. Я почувствовал глупость своего положения.

— Дальше не пойду, там болото и лягушки, — сказала Инна, и глаза ее широко раскрылись от страха перед болотом.

Там действительно была трясица, лягушки орали, словно не находили лучшего занятия. Им помогал дергач, дирижировал праздничным концертом.

Инна улыбалась во весь рот, забитый неровными сверкающими зубами. Пожалуй, их было штук сто.

— Вы серьезно боитесь лягушек? — осведомился я.

— Это по наследству. Моя бабушка терпеть их не могла. В обморок падала...

В кустах прыгала какая-то птица. Солнечные лучи были синие от испарения. Хотелось взять эту девчонку на руки и унести в сумрак теней.

— Вчера мы поссорились с сестрой... Вам неприятно это слышать? — надменно закричала она и отломила ветку осины, хлестнула себя по смуглым ногам.

Я пожал плечами. Дергач действовал на нервы.

— Из-за чего?

— Моя сестра — антипод. Она любит физику. Электроны, протоны, нейтроны, нейлоны... И не боится лягушек.

— Нейлоны — уже химия, — сказал я, не уловив иронии.

Она презрительно засмеялась, падая с ветхого пьедестала. Я хотел подхватить ее, но опоздал. Задевая коленкой о коленку, она заскакала по дорожке в обратном направлении. Тяжелые волосы мотались по девчоночьим плечам.

Черт меня дернул пригласить ее на прогулку!

Она не оглядывалась. Моя тень бежала чуточку впереди. Мы вышли из густого ельника. Начались места, вытопанные дачниками. Тропа свернула, наши тени слились.

Я догнал Инну, взял ее за прохладный локоть. Здесь было солнце, ее кофточка немного просохла, От земли поднимался пар.

— Я хочу кое-что сказать вам... — начал я, шлепая сандалетами между выпирающими корнями.

Я сказал не очень уверенно. Она заметила, что я трушу. Лицо у нее было пристально и печально, как у красивых детей, когда они не смеются.

— Не нужно говорить... Все прошло, — вздохнула она и добавила: — Простое недоразумение...

Мы вышли на открытую поляну. Цветы дымили сушасшедшие запахи. Гудели шмели, обивая росу перегруженными телами. Близко лаяла собака. Начинались дачи. Мы остановились.

— Недоразумение, — повторила она и, моргая, высвободила руку.

Чтобы скрыть смущение, я нагнулся, сорвал цветок. Он был слабый, головка полоскалась на длинном стебле. Я протянул его ей. Рот Инны раскрылся, как у лягушки. В ее улыбке было что-то взрослое и жалкое.

— Не нужно. В семь часов придет Аня... Приходите.

Впервые она назвала сестру по имени. Мне стало противно от своей лжи. Я смотрел на солнце, пока в глазах не поплыли оранжевые круги. Девочка дотронулась до моей руки и ушла, хлопая детскими босоножками. От цветка шел раздражающе удушливый запах.

К вечеру я собрал чемодан и, не отвечая на расспросы удивленных хозяев, направился к станции.

Поезда долго не было. На платформе гуляли праздные дачники. Я шатался среди них, вглядываясь в незнакомые сытые лица. Мне казалось, что встречу Инну — она часто ходила к поездам, — скажу слова, которые она бы поняла и перестала бы думать обо мне плохо.

Солнце еще светило. Над непокрытыми головами носились ласточки. Из гнезд птенцы высовывали желтые клювы.

Я заглянул в буфет. Там торговали засохшими пирожками, лотерейными билетами и пивом. Какой-то лысый мужчина задумчиво стоял с кружкой.

Я тоже взял теплого перебродившего пива. От него мне стало мутно.

Я поставил недопитую кружку, быстро вышел, оглянулся по сторонам. Две знакомые девицы, сильно деколь-

тированные, увидели меня, зашептались и помахали руками.

Я отвернулся, будто не узнал их, говорить не хотелось.

Показался поезд. Серые от пыли вагоны медленно остановились. Никто не уезжал в тот день. Я поднялся в тамбур, с надеждой глянул на дорогу, откуда могла прийти маленькая Инна. За густыми акациями ничего не было видно. И я представил, как она сидит в глухом саду, тихо плачет в колени. Мне тоже хотелось заплакать, но кругом были чужие лица.

Поезд тронулся. Проплыла водокачка с острой зеленой крышей, короткий шлагбаум, красная дорога, по которой никто не шел в белой кофточке, в детских нелепых босоножках.

Мой старший брат



В городе была глубокая яма с водой. Из воды высовывались лягушки, замаскированные рыской. Мы набили их целую кучу остройгой и теперь разделявали.

Я сидел на корточках. Ленка стояла рядом. Ее ноги были очень близко от меня. Я смотрел не на лягушку, а на Ленкины ноги: они, казалось, росли из травы. Она была босиком. От тапочек осталась отметка: пальцы были розовые, очень чистые. Ленка шевелила ими в траве. А сами ноги почернели от загара и уходили в глубь ситцевого платья. Очень далеко уходили. Я нечаянно прижался к Ленкиной ноге щекой. И одно мгновение ощущал ее тепло. Кожа немного кололась и пахла сладко.

Мой брат Аркадий тоже косился на ее ноги. В траве лежало еще шесть неободранных лягушек. Их нужно

было разделать, чтобы приманка для раков выглядела аппетитно.

— Бр-р, — сказала Ленка. — Живодеры.

— Они дохлые, — сказал я.

— Левая шевелится.

Я взял эту лягушку, надорвал большой палец на лапке. Лягушка даже не дрогнула. Кожа полезла чулком до самой головы. Только у глаз она трудно оторвалась.

— Видишь, она совсем дохлая, дохлее быть не может, — сказал я и положил лягушку на траву. Лягушка вдруг дрыгнула лапками, перевернулась на живот и сделала скачок. Она была голая и синяя, будто замерзла без шкуры. Ленка вскрикнула. Аркадий стукнул очумевшую лягушку по башке палкой.

— Порядок, — сказал он.

— Я с вами говорить не хочу, — сказала Ленка. — Оба жестокие.

— Когда надо, человек должен быть жестоким, — возразил Аркадий. — Сама просила показать, как ловят раков. Ты же любишь телятину. Она, между прочим, на крови...

— Раки любят мясо, — поддакнул я.

— Не нужно ловить таким способом. Говорят, можно руками.

— Вода холодная. Речка ключевая, — сказал Аркадий. — Мы боимся простудиться.

Он выпрямился, сунул в рот болгарскую сигарету и улыбнулся. Все девчонки теряли голову, когда он так улыбался. Я был младше его на девять лет, но понимал, что он слопает Ленку, глазом не моргнет. У него этих дурых хватало.

Руки у меня были грязные — всю процедуру делал я, брат только руководил. А курить мне страшно хотелось.

— Зажги и дай мне сигарету, — сказал я брату.

Он протянул сигарету и брезгливо дал прикурить. Ленка поморщилась, надела тапки и сказала:

— Погуляем, он все сделает и догонит.

Брат кивнул, уцепил ее под локоть, и они пошли к калитке.

Было жарко. Куры лежали в ямках, раскрыв клювы. Около соседнего дома стучал топором пенсионер, но все равно было слышно, как тикали часы на моей руке. Суровыми нитками я привязал лягушек к сеткам, вытащил их на припек, чтобы приманка провялилась. Потом пошел в дом, тщательно вымыл руки. Нашей хозяйки, бабки Насти Макаронихи, не было. Я заглянул в кладовую, взял десяток картошек. За перегородкой в одиночестве вздыхал поросенок. Я постучал, чтобы ему было веселее, надел кеды, запер дверь, а ключ положил под крыльцо.

Брат с Ленкой сидели над обрывом.

— Эй, молодожены! — закричал я. — Нашли верблюда; да?

Аркадий взял рюкзак. Ленка извлекла из аэрофлотской сумки помаду, намазала рот. Молодое лицо ее блестело на солнце. Мы спустились с обрыва.

Река заросла густым черноталом. В низине росла высоченная трава. Два колхозника свистели косами, с граблями ходила баба. Красная лошадь лягала оводов, спрятав морду в кусты. Ленка шла впереди, длинные ромашки стегали ее по коленям. Аркадий стандартно острил:

— Лен, ты на «ТУ» летаешь?

— Как придется.

— В них всегда керосином воняет.

— В трамвайчике ничем не пахнет, — сказал я.

— Не лезь, — сказал брат. — Первая стюардесса была баба-яга в ступе.

Ленка хмыкнула. Над лесом плыла истома, дальние деревья таяли в мареве. Не доходя до разрушенной мельницы, мы остановились. Я спустился к воде, хватаясь за ветви, напился, ополоснул лицо. Вода была ледяная и жесткая. Я вытерся рубахой. Аркадий трещал кустами, вырезал палки для сеток. Я подошел к нему.

— Мы пойдем ягоды собирать, не тащись за нами. Понял? — Он притворно зевнул и добавил: — Раки сожрут мясо, если долго не проверять сетки.

— Еще бы, — сказал я.

Мы расставили рачницы на излуке и вернулись на луг. Ленка взяла голубую сумку, и они ушли. Я выкурил сигарету, потом пошел за валежником для костра. Позавчера был ливень, лес хранил сырую прохладу. Я сразу нашел два гриба. Один был белый и чистый, как доктор. Второй сидел под березой. Корни березы не пускали его в рост, он расползся, башка у него была вся в шрамах от врезавшихся корней. Он был очень крепкий. Я обрадовался, будто нашел сокровище, повеселел, стал насвистывать песенку «Мама, я что-то потеряла». Из тонкого прута сделал шампур и насадил «доктора» и этого уroda в шрамах.

Аркадий с Ленкой ушли далеко, их было не слышно. Третий гриб строгала улитка, я его не стал брать — оставил ей харч на неделю. В кедах было приятно идти, только сучки потрескивали. Послышались голоса, я подумал, что это Ленка с братом. Оказалось — вышел к заливу. Разговаривали баба с мужиком, ожидая катер. На пристани стояли ящики с луком. Дядя был, видимо, выпивши. Он сошел с настила на берег, стал раздеваться. Тело у него было белое, а шея и лицо — черные от загара. Прикрыв рукой срам, он разбежался и шарахнул в залив, стал рычать и бултыхаться, даже гуси выскочили. Женщина — видно, его жена — равнодушно отвернулась. Мужик вылез, прыгал по траве и не мог попасть ногой в портки, но вовремя оделся: появились две молодухи с корзинами ягод — на базар ехать по морю.

Я пошел краем леса, воображая, что встречу Аркашу с подругой. Ягод было полно. Перелез через глубокий овраг и выскочил на опушку. По тропе гуляли Аполлон Георгиевич с Ленкиной мачехой. Они меня не заметили — на мне была рубашка защитного цвета. Евгения Павлов-

на — женщина лет тридцати с небольшим, довольно красивая дама с чуть размытой фигурой. Аполлон Георгиевич держал ее за талию. Он был Аркашкин приятель, известный в свое время сластомист. У него было лицо истинного спортсмена, изнуренное стрессовыми нагрузками. Однако весной он оставил спорт — что-то не заладилось у него. Аркашка понимал людей и говорил, что этот человек развивает бешеную энергию в любом деле, даже которое не стоит выеденного яйца, и дал ему прозвище Фортинбрас. Аполлон Георгиевич, конечно, знал, что этот шекспировский герой — положительный. Остальное его не интересовало. Он охотно откликался, когда его так называли в нашем кругу. Он нравился мне, что-то в нем было непонятное: иногда задумывался при всех, глаза становились синеватыми от тоски.

Я, притаясь, смотрел на эту парочку и старался ничего о ней не думать. Мне не хотелось думать плохо о Ленкиной мачехе.

Ленка с моим братишкой сидели у бледного костра, пекли картошку и раков. На земле в траве валялись красные панцири, выпачканные в золе. В рюкзаке скрежетали живые раки. У Ленки рот был вымазан черникой. Она улыбнулась мне. Я облегченно вздохнул и показал им мои грибы.

— Господи, — сказала Ленка. — Аркаша, смотри, какой Квазимодо.

Ни черта она не смыслила в грибах.

— Ладно, — обиделся я. — Ты их засуши. Когда разрежешь, они станут одинаковые.

Ленка вздумала загорать. Скинула платье. Я старался не смотреть на нее.

— Картошка еще не готова. Проверь сетки, — приказал брат.

— Уже помешал?

— Какой ты дурачок, Венька! Такой дурачок! — сказала Ленка.

— Ну да, — говорю, — во всех фольклорах младший брат в идиотах фигурирует.

Аркашка треснул меня по затылку. Вроде в шутку, а больно.

— Ладно, — говорю, — у меня живот что-то заболел. Домой пойду.

Они не стали меня удерживать.

— Привет, — сказал я.

— Хлеба купи, — заорал вслед Аркашка.

Я не оглянулся, но спиной чувствовал, как они стали целоваться.

Макарониха толкалась в огороде, полола грядки. За сараем была куча нерасколотых чурок. Над головой ссорились ласточки. Шумели мухи на солнечной стороне. Я взял сношенный топор, стал колоть дрова. Меня всего трясло, будто из нутра выходила речная сырость. Топора толком не видел.

Подошла Макарониха, руки у нее были в земле.

— Ногую-то сколешь, — сказала она. — Топорище замочи.

Я посмотрел на рукоятку. Она и вправду рассохлась, топор съехал.

— Брательник-то твой белоглазый опять яйца с гнезд обобрал, — пожаловалась старуха и стала поднимать щепочки для плиты. Платье на бабке болталось, как на вешалке, просвеченное насквозь солнцем. На ногах — чиненные валенки, от ревматизма...

— Что взял — заплатим, — сказал я.

— Чего уж там! — заворчала хозяйка. — Я не про то, а что без спросу лазит. Вы родные братьевья-то?

— Отцы разные.

— То-то, смотрю, непохожи вы. — Она разогнулась, прижимая к высохшей груди пахучие щепочки, прило-

жила руку к пояснице, охнула. — К дождю, видать. Так ломит, сил нет.

Она немного помолчала.

— Ленку-то все крутить и крутить. Обротает девку. Глазы у него нехорошие. . .

— Ладно, — сказал я. — Глазы как глазы.

Лезет старуха не в свое дело, будто ей все дозволено. Просто неприятно стало, как она о моем брате думает.

Поросенок, выпущенный на волю, подрывал избяной угол. Макарониха взяла хворостину и ласково замахала:

— Ай стервец, повадился, — и начала его пропесочивать.

Поросенок поднял рыло и внимательно слушал наставления. Мне даже показалось, что он ухмыляется.

Мы жили у бабки Насти третью неделю. Она была веселой, постоянно мурлыкала детские песенки, вставала чуть свет, доила корову, кормила кабана и разговаривала с ними о своих делах. Потом уходила на базу вязать сети. Руки у нее были порезаны капроном. Мужа ее бандеровцы повесили. А сына на китайской границе убило осколком, когда там конфликт был.

Это мы потом узнали. Первое время мы с ней отлично ладили. У нее в сарае, где мы спали, было полно голубей. Аркашка злился, что они не давали спать по утрам. Сделал из них шикарный французский супешник. Все произошло в мое отсутствие, я брата еще отругал, зачем тратит деньги на цыплят. Он только ухмылялся. Я догадался, в чем дело. Макарониха спрашивала, но мы не сознались.

— Улетели, — сказал Аркашка. — Им надоело жить здесь, подались в теплые края. . .

Хозяйка не поверила — нюх, что ли, был, — заподозрила Аркашку, невзлюбила. А яйца я любил тепленькие пить.

Я поколол все дрова, сложил в поленницу, сходил в магазин и пообедал консервами.

Аркашка вернулся, когда солнце висело над лесом. Закинул мокрые сетки на навес, рюкзак с живыми раками зацепил за железнодорожный костыль, вбитый в крученый столб. Сел на чурбак и закурил.

— Ты чего такой инфантильный? — поинтересовался я.

— Поругались.

— Ты же стремился к этому.

Он не понял.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что в душу плюешь себе, не замечаешь. Ты распоследний циник, даже хуже.

Он согласился:

— Справедливо. Ты здорово поумнел, как я стал тебя учить. Диву даюсь. Циник — такой человек, который все понимает, но изменить ничего не может. Живет, мучается... — Он вяло махнул рукой.

— Это я уже слышал, — сказал я. — Новей ничего не придумал? Путаешь понятия. Лезешь в волки — хвост собачий.

— Ну, знаешь, выбирай выражения.

Ругаться ему не хотелось. Мне даже жалко его стало.

— Мы поженимся, — сказал он. — Мне никто так не нравился, как она.

— Ну да, — говорю. — В твоем списке блондинки перевелись? Решил начать новую жизнь...

— Пошел в дыру.

Макарониха высунулась из окна и стала смотреть на нас. Брат встал и вынес из сарая перчатки для бокса.

— Зашнуруй, потренируюсь.

Я завязал.

— Сходи к Ленке.

— Не пойду.

— Тебе ничего не стоит. — Он ударил по мешку с песком, подвешенному к стропилу навеса.

— Стоит, — сказал я.

— Мне тяжело. Знаешь, как тяжело! Скажи, пускай в клуб приходит. Сегодня артисты из города будут. Сообразишь, о чем говорить. Причина у тебя есть. Марку Ивановичу свои шизофренические стихи покажешь. Он собаку без соли съел на этом поприще. Его статьи сто-тысячным тиражом расходятся... Твои мозги набекрень вправит... Где так ты храбрый.

Брат знал, чем задеть мое самолюбие.

— Ладно, — сказал я. — Схожу.

По дороге пастух гнал стадо коров. Макарониха вышла с куском хлеба:

— Фрось, Фрось, Фрось...

Я сменил рубашку, взял тетрадь и пошел к Ленкиной даче. Дом был большой. В нижней половине жили хозяева. Хозяин столярничал под навесом.

— Тиво тебе? — спросил он.

— Позови Ленку.

— Исе тиво. Лезь сам.

Я пошел на веранду и слышал, как хозяин стал ругаться на своем немыслимом языке. Он был контужен в войну. Инвалидность не мешала ему работать. Я никогда не видел, чтобы он сидел без дела. И сейчас он принялся строгать грабли, сопел, будто высасывал мозговую кость. Я поднялся по крутой лестнице. За стенкой разговаривали. Я остановился.

— Софист Фразимах говорил, что справедливость — не что иное, как выгода для сильного.

— Милый, все это устарело.

— Не будем расщеплять тминные зерна. Вы-то где были?

Ни черта я не понял из этого разговора. Постучал. Меня вежливо пригласили.

Ленкин отец в пижаме стоял на пороге своей комнаты. Мачеха пила горячий чай. В комнате пахло уксусом и какими-то маринадами. Я поздоровался. Ленкины родители посмотрели на меня и кивнули.

— Мне Лену, — сказал я.

Мачеха показала на дверь. Я повернулся и, шурша джинсами, втиснулся в боковушку. Ленка сидела на кровати, причесывалась.

— Лена, — сказал я.

Лицо у нее было заплакано. Она смутилась, стала пудриться. На ней был короткий халат, голые коленки высывались на четверть. Я посмотрел на стол. На тарелке лежал апельсин размером с пушечное ядро, рядом — книга. Она была раскрыта. На полях было написано губной помадой: «Аркадий, ты мне необходим. Твоя до последней дорожки».

Ленка увидела, что смотрю, и захлопнула книгу.

— Он сказал, чтобы ты не сердилась. Сегодня в клубе артисты из филармонии, потом танцы. Он сказал, чтобы ты пришла к началу, — затарабанил я.

— У меня голова болит. — Она пощупала виски.

— Он сказал, что он осел.

Улыбка чуть тронула ее рот. Ленка уже оправилась, кивнула на тетрадь:

— Отду принес показать? — Шмыгнула носиком.

Она читала мои опусы, ей не понравилось, что я пишу без рифмы.

— Стоит ли?

— Дурачочек, он скажет, что к чему.

Она взяла рукопись, приоткрыла дверь.

— Папа, Венька принес стихи и боится.

— Ну-ну, посмотрим.

Ленка отдала бумаги, повернулась и снова потрогала виски.

— Нет, у меня определенно болит... Не пойду.

— Он тебя ждет не дождется, — соврал я.

Она приуныла. Ее тянуло бежать скорей к моему брату.

— Ладно, ты обожди, переоденусь.

Я вышел. Мачеха приготавливала на ужин какое-то холодное заковыристое блюдо. На столе были разложены овощи: редиска, огурцы, лук. Она посмотрела на меня с любопытством.

— Садитесь, в ногах правды нет, — сказала мачеха и придвинула плетеный стул.

Я сел на краешек. Марк Иванович полистал мою рукопись, потом глянул на меня колючими мужицкими глазами и сказал:

— Философская натерка у тебя есть. Неплохие детали. Но в целом склеено на скорую руку. По церковному преданию, хитон Христа не имел швов. И в искусстве швов не должно быть, — заключил он и надавил окуроч в пепельнице, изображающей медузу. — Работаешь или учишься?

— Я глиномаз, — брякнул я с вызовом и развязно сел на стул, закинув ногу на ногу. Мне страшно не понравилось, что он спрашивает меня с высоты своего положения, будто я школьник. Терпеть не могу опросных листов. Он сразу это понял, даже чуточку усмехнулся.

— Это что за специальность такая мудрая?

— Не мудрая, а грязная, котлы на ТЭЦ возвожу. Осенью меня берут в армию.

— Напрасно так неуважительно отзываешься о своей специальности, — начал Марк Иванович. — Любая работа дает обширный материал. Поэт — не паук, который тянет нить из самого себя. Он должен стоять на реальной почве...

И так далее учил десять минут. Мне скучно стало. Я посмотрел на Евгению Павловну. Холеными руками она резала огурчики. Волосы у нее были убраны на затылок в большой узел. Никогда бы не подумал, что она способна путаться со спортсменами. Со стороны — семейная идиаллия, болт с гайкой. Все было тихо, мирно и трогательно.

— Милый, тебе там не надует от окна?

Во дворе действительно поднялся ветер, но небо было чистое. На подоконнике лежали мои грибы. От Евгении Павловны струился едва уловимый запах духов. Она пошла прикрыть раму, свистя нейлоновыми чулками. Марк Иванович отложил рукопись и спросил:

— Торопитесь?

— Мы в клуб идем.

— Мне тоже нужно статью доделать, пока настроение.

Он холодно повернулся к портативной машинке, стоящей на табурете, стукнул одним пальцем по клавише. Я успел прочесть одну фразу из рецензии на молодого автора.

Вышла Ленка. Через плечо — сумка, в руке — оранжевый апельсин. Юбка на ее бедрах была натянута, как тетива. Белая блузка с манжетами из кружев. Только таких и держат в Аэрофлоте — забавлять пассажиров: «Высота девять тысяч метров. Температура за бортом минус сорок пять градусов. Крейсерская скорость — восемьсот километров в час». Тыр-пыр...

Я попрощался и, спускаясь по лестнице, слышал, как Евгения Павловна сказала:

— День и ночь с братцем! Настоящий увалень. Или слон, который еще не завтракал. — Она засмеялась, довольная сравнением. Марк Иванович заступился:

— Вам, женщинам, только фасад нужен. Глупости все.

Ленка заскрипела перилами, чтобы я не слышал.

Мы пересекли сосновую рощу и вышли на песчаную дорогу. Ленка буксовала в своих модных туфлях и о чем-то думала. Губы у нее были сильно намазаны.

Солнце уже село, напротив заката выступили зеленые звезды. Ленка смотрела на них и вдруг сказала:

— Когда смотрю на угасшее небо, мне страшно. На солнце я ни о чем не думаю. Мы раз с подружкой шли ночью, меня такая жуть взяла — хоть вешайся.

— «Что есть любовь? Что есть Вселенная? Что есть тоска? Что есть звезда?» — спрашивает последний человек и моргает, — в тон ей сказал я.

Она насторожилась:

— Твои стихи?

— Нет. Это один друг в письме написал, он был тогда влюблен и обожал все упадническое.

Не мог же я ей сказать, что эта цитата из братниного дневника. Он откуда-то выписал изречение. Подобных фраз у него был целый вагон, на все случаи жизни. Когда Аркашке попадались трудные девочки, он их охмурил таким способом. Метод действовал безотказно. Девчонки в своем большинстве ленивы и нелюбопытны, уши развешивали. Как говорится, цветистая речь услаждает только непосвященных.

Но Ленке что-то не понравилось, вздохнула:

— Действительно упадническое.

Показался клуб.

— Возьми меня под руку, пусть Аркашка позлится, — сказала Ленка.

Я потер ладонь о джинсы и взял ее локоток. И шел, пьянея от близости ее легкого тела, чувствуя, как кровь текла под ее тонкой кожей.

— Подожди, — сказала Ленка. — Камень попал.

Она нагнулась, цепляясь за мой рукав, сняла туфлю и постучала ею об мою ногу. Мелкие камешки, высыпаясь, шеркотали.

— Об твои ноги можно ковры вытряхивать. Ты как мастодонт...

Она разогнулась, вдруг покраснела, вспомнив, вероятно, что подобные слова говорила мачеха.

— Ты не обижаешься? — поспешно выпалила она, заглядывая мне в лицо.

Господи, я обижаюсь!

От Ленки шел чистый необъяснимый запах: так пахнет молодая травка или просохший дыпленок. Глаза пла-

вали по всему лицу. Я ничего не видел прекраснее ее глаз.

— Не спи, миленький, — подергала меня за рубашку. Видно, я долго пялился на нее.

Это я-то миленький?

Мы пошли. Слышался гул голосов. За клубом паслись влюбленные парочки. Ленка вдруг остановилась.

— Знаешь, мы сегодня поссорились из-за пустяка. Такой пустяк... Какая я дурища, право!

Лицо ее было страдальческое и надменное. Мы снова тронулись в путь.

На большой поляне перед клубом толпился народ. Шефы, которые должны были дать концерт, еще не приехали. В стороне стоял трактор с прицепом, мотоциклы с люльками, велосипеды. С открытого борта грузовика торговали эстонским пивом. Было порядочно шумно. Пиво здесь редкость, по большим праздникам. Сегодня был день рождения местного кооператива, на другой день намечалась ярмарка в соседнем селе.

Степенные отцы семейств со своими ухватистыми супругами расположились на скамьях, на обтесанных бревнах, на мягкой траве, расстелив платки со снедью: вяленые жирные сиги, малосольные огурцы, бутылки с пивом. Среди взрослых бегали мальчишки и блеяли на разные голоса, светили карманными фонариками. Было уже достаточно темно. На выбитом пяточке плясал под гармошку электрик с лесопилки. Он усердно топал ногами, даже рубашка выехала из штанов.

Аркашка стоял в компании Аполлона Георгиевича и санитарного врача, недавно приехавшего из города, с двумя неизвестными девицами в тесных брюках. Брат был очень чисто одет, сильная, высокая фигура его отчетливо выделялась среди остальных. Даже Фортинбрас не особо гляделся рядом с ним.

Аркашка увидел нас. Раздвигая длинными руками толпу, счастливо улыбаясь, быстро пошел навстречу.

У Ленки лицо стало стремительным и отрешенным. Все обратили на них внимание. Парни стали пихать друг друга локтями, девушки кривили презрительно рты, а взрослые понимающе улыбались. Ленка взяла моего брата за кисть руки и глядела ему в глаза, потом посмотрела на людей, и весь вид ее говорил: «Мы сотворены друг для друга. И вы улыбаетесь, видя, что мы сотворены друг для друга...»

Я брел позади, переступая через ноги сидящих, машинально перезнакомился с приятными девушками, поздоровался с молодым санитарным врачом. Легкий озноб сводил мои плечи.

Тотчас мужчины стали острить, с катастрофической поспешностью истощая свой юмор. Фортинбрас подошел к машине с пивом, извлек из кармана куртки пачку зеленых кредиток:

— Угощаю, ящик на всех...

Девушки завизжали от восторга. Аркашка прочел молитву:

— Аполлон — бог пророчествующий и знающий. Он искупляет и очищает — в противоположность эвменидам, другим подземным божествам, которые отстаивают суровое, строгое право; сам Аполлон чист, у него нет жены, а только сестра, и он не замешан, подобно Зевсу, во многих отвратительных историях. Аминь.

Все засмеялись. Я один промолчал, выпал из общего веселья, ибо знал, откуда этот поток. Память у моего брата была феноменальная, как у хорошо отлаженной электронной машины.

Аполлон Георгиевич расцвел, заулыбался детской улыбкой:

— Молчи, сквалыга. Я выиграл велосипед по лотерейному билету. Есть у вас еще такие билеты?

— Есть, — ответила продавщица и протянула веер бумажек.

— Аркашка, дарю тебе на свадебное путешествие десять штук.

Аркашка вдруг разозлился:

— Не люблю азартные игры.

— Ну, как хочешь, — обиделся Аполлон Георгиевич за свою щедрость.

Ленка прижалась к моему брату всем телом. Мы упали в траву, росы еще не было. Пиво было сладковатое от солода, незаметно крепкое. Скоро мы почувствовали себя значительными, старались сказать умное. Разговор вертелся вокруг фантастических выигрышей, поскольку пили за никелированный «Турист» Аполлона Георгиевича. Санитарный врач пялился на Ленку и обращался все время к ней.

— Знаете, Леночка, иду раз, вижу — полтинник вмерз в гололед. Стал каблуком выбивать. Каблук сбил, так хотелось добыть монету. А дело вечером случилось. Нагнулся — пробка обыкновенная из-под пива...

Ленка даже поморщилась от его назойливых глупостей. Девицы куда-то ушли и скоро вернулись, в свете фары трактора блистая белыми брюками. Вытащили длинные таллинские сигареты. Ленка тоже закурила, взяла руку моего брата, гладила ее как блаженная. Ветер шевелил звезды в вышине. Люди бродили по земле.

Шефы-артисты приехали с традиционным опозданием. Все повалили в клуб. Фортинбрас с Аркашкой захватили места у подножия сцены.

— Сейчас нам пыли напустят в нос, — сказал санитарный врач, глядя на Ленку.

Аркашка недовольно глянул на него и пересадил Ленку рядом со мной. Справа сидела Хельга с Аполлоном.

Артисты мешкали. Из-за кулис выглянуло чье-то накрашенное лицо. Народ нетерпеливо гудел. Клуб был вместительный. В простенках на толстых проводах висели лозунги. В распахнутых окнах сидели рыбаки в ре-

зиновых ботфортах, в лихо сдвинутых на затылки фуражках с крабами.

— Мы покурим, — сказал Аркадий, — держите места.

Девушки понимающе улынулись. Мы зашли за клуб, к купе деревьев.

— Кто эти красавицы? — спросил Аполлон Георгиевич молодого специалиста по санитарии.

— Племянницы Раудсеппа. Кажется, они сестры.

Аркашка как-то зло посмотрел на врача. Тот ни черта не понял. Лицо у него было худое, как у аскета. Видно, он обалдел от латыни, теперь вырвался на волю, не зная ни людей, ни жизни. Аполлон Георгиевич вытащил монету, подбросил и поймал между ладоней.

— Если решка, я беру Хельгу, ты — Ульви.

— Мне все равно, — сказал бывший студент.

Выпала решка.

— Справедливо, — сказал Аркашка. — Чтобы не спорили, всем по манжету.

— Вы как лошадаики. Со стороны вроде порядочные люди, — сказал я.

— Что он говорит? — спросил Аполлон Георгиевич.

— Говорит, что мы — лошадаики.

— А он кто?

— Он чистый, благородный джентльмен, который никому не ищет зла...

— Увы, не понимаю молодежь.

— Не поймете, — разозлился я. — У вас слабые умственные способности.

— Жаль, что он твой брат, — сказал Аполлон Георгиевич. На его скулах заходили желваки. В темноте его лицо стало серым.

— Заскоки у него бывают. Идите, я с ним потолкую. Они ушли, оглядываясь.

— Ну что, умник, так и ищешь приключений! Держал бы язык за зубами, — сказал брат.

— Противно на вас смотреть.

— Думаешь, все знаешь. Надо сдерживать себя, если что не нравится. А то до старости дураком проживешь.

— Мне плевать. Надо вести себя по-человечески.

— Мы и ведем себя согласно купленным билетам, — вздохнул он и вдруг рассвирепел: — Извинись перед ним!

— Еще чего!

— Если не извинишься, я сам начищу тебе физиономию.

— Попробуй.

— Ну вот что я тебе скажу. Ты в подметки не годишься Аполлону. Ты бы выл и ползал по земле, тычась мордой, на его месте. Пршлую весну он попал в лавину. Когда его отрыли, у него маленький сучок торчал из живота. Врач сказал Аполлону, что он протянет год или два от силы. Шансов никаких. Теперь тебе ясно?

— Ничего не ясно.

— Пойми, он страдает по спорту, не хочет тянуть резину, сидеть на диете и разглядывать из окошка проходящих девушек... Так что думай, святым быть легко за счет других. Посмотрим, каким ты окажешься, поэт... — Он презрительно плюнул, повернулся и пошел к клубу, белея в темноте рубашкой.

Я постоял минут десять, во мне что-то прояснилось. По тропе шел электрик с лесопилки, жена вела его под руку. Я вернулся.

На сцене пел хор на эстонском языке. Я старался смотреть на артистов. От Ленки исходило непорочное сияние. Аполлон Георгиевич не обращал на меня внимания, всецело был занят Хельгой. Рука его лежала на ее литом колене.

После хора выдвинули рояль и вышла певица в длинном платье. Руки у нее были полные, оголенные до самого плеча. Когда она выходила из-за кулисы, платье зацепилось за какой-то гвоздь на сцене. В зале загыкали. У артистки задрожали губы. Она приподняла подол. На ней были белые туфли с серебряной каймой. Наконец

она справилась с гвоздем и кивнула пианистке. В клубе почти не было слышимости.

Ленка повернулась ко мне:

— Голосочек с мизинец...

Я защитил певицу:

— Здесь петь все равно что в гардеробе, где много пальто.

— Зря мы близко сели. У нее жилки дрожат.

— Тише, — сказали сзади.

После певицы вышел жонглер, который ронял свои аксессуары. Акробаты доконали программу. Они были пожилые, номер делали неловко, тяжело, но механически улыбались. У акробатки трико под коленкой было заштопано.

— Он ее уронит, — сказала Ленка.

— Пускай попробует, — сказал Аркашка.

— Она бабушка. Ей бы внушкам варежки вязать...

Мне почему-то было жаль старых артистов, не нравилось, что Ленка критикует их. Под боком вертелась Хельга. С Аполлоном Георгиевичем у нее шла тихая возня в поддавки. Глаза у обеих сестер светились в полутьме красноватым светом, как у лисиц.

Объявили перерыв, после должна была начаться местная самодеятельность. Мужчины затопали на природу курить. Аполлон и «сантехник», как я окрестил врача, смылись куда-то с сестрами.

— Шел бы ты погулять, — сказал Аркашка. — Ходишь за нами, как тень отца Гамлета.

— Жду, когда ты интересное выдашь, что-нибудь из Геродота.

Он понял намек и разозлился:

— Я тебе такое скажу, перевернешься...

— Ну-ну, не ссорьтесь, петушки. Он же твой брат, — Ленка погладила нас по плечам.

— Единоутробный, — сказал я.

Кто постарше, ушли домой. В клубе стало просторнее. Автобус с артистами уехал. Сестры вернулись с размазанными губами. Самодеятельность нам понравилась больше. Девчонки-восьмиклассницы недурно танцевали, от них хоть плесенью не пахло. Нас развеселил поэт, который читал собственные стихи, иногда такие печатают в районных газетах. Он выл и закатывал глаза минут пятнадцать. Все стали кашлять. За ним выступил баянист, заведующий гаражом. Пальцы у него были короткие, с черной каймой под ногтями. Он еле сгибал их, но сыграл польку почти без ошибок до конца. Напоследок вышли две удалые девахи из леспромхоза. Они постоянно ходили вместе. Рыбаки звали их за такую дружбу Белка со Стрелкой. Белка была толстушка в два робких обхвата. А Стрелка, наоборот, худая и черная, как опаленная сосенка.

Я не ожидал, что они так споют. Пели они старинный романс под гитару. Голос у Стрелки был хриплый, а у Белки — тонкий, нежный. Вместе получалось что-то грустное. В носу щекотало, пока они пели. Ленка вытащила платок и начала сморкаться. В зале наступила тишина. Девушки спели еще одну песню и ушли. Им долго хлопали. Зажгли свет. Аполлон вытащил из кармана три плитки шоколада, стал оделять нас.

— Не ем, — сказал я демонстративно. — У меня зубы ломит от сладкого.

Он посмотрел на меня без всякой злобы — видно; простил. И Ленка отказалась от шоколада с орехами, вытащила из сумки свой толстенный апельсин. Сестры очень обрадовались даровому угощению. От апельсина только щепки полетели.

На сцену залезли музыканты-эстонцы с контрабасом и объявили танцы. Народ гремел стульями, расчищал площадь. По залу катались пустые бутылки из-под пива. Кто-то из администрации складывал их за печку, как дрова. К нашей компании подрулила Белка с подругой.

На них были очень хорошие туфли на платформе и кожаные юбки. Издалека девушки выглядели неплохо. Нас они немного знали, мы иногда разговаривали с ними.

— Мальчики, угостите нас сигаретками, — сказала Стрелка. — Привет Фортинбрасику.

Она помахала рукой. Аполлон Георгиевич отодвинул челюсть, хотел что-то брякнуть. Брат вытащил сигареты.

— Вы прекрасно пели, — сказала Ленка.

Стрелка заморгала глазами. Менее чувствительная Белка только засмеялась.

— Правда? Мы так волновались! — Белка затряслась от смеха всем телом, ей было приятно услышать похвалу.

Но все дело испортила Хельга.

— Только вы чуточку развязно вели себя со сцена. Фуй. Извините, неприлично смотреть на девушку, который размахивает руками со сцены. . .

— А ты кто такая, чтобы учить? — взвилась Стрелка.

Подруга потянула ее за руку:

— Плюнь ты на то, что эта мымра накрахмаленная говорит. Пойдем к рыбакам, эти нам не компания.

— И правда, валите поздорову, — сказал Аполлон Георгиевич.

— Дубье стоеросовое! — закричала Стрелка.

— Вы недобрая, грубая девушка, ведете себя недостойно.

— Ах ты, ущербная кобыла! Сима, слышишь, что говорит это тухлое яйцо в белых брюках? На лесоповал бы тебя, чтобы шкура слезла. Тьфу на тебя!

Я подумал, что девицы вцепятся сейчас в волосы друг другу. Наяривала музыка, но многие стали оборачиваться в нашу сторону. Через зал пробирался участковый с озабоченным лицом. Он был в штатском костюме.

— Ну, вы, — сказал Аполлон Георгиевич, — валите, пока я вас не выкинул.

Стрелка напряглась, посмотрела на него, потом на

нас всех. Никогда бы не подумал, что она вдруг разревется. Слезы градом полились из ее глаз.

— Сима, что мы сделали им? — разрыдалась она. — Что мы сделали. . .

— В чем дело? — спросил участковый.

— Все в порядке, — сказал Аркашка. — Выведите ее на свежий воздух.

Участковый хмуро оглядел нашу компанию; покачал головой и с Серафимой повел рыдавшую Стрелку на выход. Всем было неловко и стыдно. Я повернулся, пошел из зала. Вслед мне эстонцы играли чарльстон.

На другой день я проснулся поздно, солнце стояло высоко. Брат спал. Я не слышал, когда он пришел среди ночи. Да и не хотел его видеть. Макарониха кормила свинью, напевая псалмы.

Я взял Аркашкину скакалку, сделал разминку, поколотил грушу, висевшую на парашютной резинке, и вымылся до пояса. Прямо на реку с обрыва летели гуси с радостным гоготаньем. Я собрал удочку, наживку. Кусок хлеба, соль с перцем положил в помятый котелок и все это запихнул в сырой рюкзак. Раки, которых я вытряхнул из него, были еще живые. Я подарил их хозяйке. Она обрадовалась, долго благодарила меня.

Я спустился к лесопилке, миновал штабеля свежих досок и окунулся в утренний лес. Росы выпало много, на кеды налипала хвоя. Я не заметил, как выскочил к старой пристани. Это был заброшенный причал со сгнившим настилом. Часть досок рыбаки разломали на костры. Из воды торчала затонувшая лайба с кривыми шпангоутами. Глубина была здесь приличная.

На свае сидел мальчишка с удилицем. Я приветствовал его, он даже не повернулся, вдруг завопил нелепую припевку про старуху, которая забралась на березу де-

лать физзарядку. В ведре плавали два больших окуня и подъязик.

Я закинул удочку. Мальчишка понизил голос, и я вставил реплику:

— Будешь орать, распугаешь рыбу.

— Пошел ты знаешь куда?

— Куда?

— Да вот туда.

— Куда туда?

Он сказал. Я щелкнул его по затылку. От неожиданности пацан чуть не сыграл в воду, я его придержал.

— Здоровый, так сразу драться. . .

— Тебя в школе чему учат? Батка мало тебя порет.

Он притих. Доски были теплые и шершавые. Поплавки сносило к сваям.

— Прошлый раз у меня язь клюнул, — сказал мальчишка миролюбиво, будто мы не ругались.

— Большой?

— Крючок разогнул, но я вытащил.

— Врешь поди?

— Была нужда! — Мальчишка колупнул рыбью чешуйку, прилипшую к щеке, и презрительно добавил: — Сам одних ершаков ловишь, думаешь — все?

Я действительно зацепил десяток ершей. Они были очень крупные и клевали один за одним. Малый скорбно почесал ногу об ногу. Щиколотки у него были в засохшей грязи. Солнце припекало. Мы сняли рубашки. К сваям подошла рыба. Рыбьи спины были хорошо видны сверху. Они терлись о слизистые бревна, сосали зелень. Я подтянул удочку. Рыбины расступились, но одна не выдержала, блеснула боком, схватила наживку. Я подсек и вытащил упирающуюся красноперку. Она шлепнула меня по голому животу хвостом. Я прижал ее к джинсам, чтобы не сорвалась. Она вымазала мне штаны слизью, а руки стали как намыленные. Я потерял их о доски.

Мальчишка перекинул свою снасть ко мне. И мы по очереди вытаскивали праздничных рыб с красными плавниками. В камышах хрюкали лещи, но без лодки их было не взять.

На дороге показалась телега с бидонами. Присади-стая лошадь глухо топала копытами, поднимая облака пыли. Рядом шествовал возчик в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело. Это был хозяин дома, где жила Ленка. Он остановил мерина, под уздцы повел его с откоса в воду. Колеса влезли в ил выше ступицы. Лошадь тотчас принялась пить, фыркая и трясая мордой от налетевших оводов.

Хозяин разделся. Труссы на нем были длинные, как у довоенного футболиста. Он хмуро опрокинул бидоны, гремел крышками, драил песком прокисшее нутро молочной тары. Муть текла на нас. Красноперка ушла.

Я решил сварить уху, поставил котелок с водой на закопченные камни, смастерил костерок из щепы. Ершей чистить поленился, только проверил жабры: иногда в них застревают червяки. А с красноперки согнал нежную чешую, вымыл и вспорол животы. Рыбины не потеряли своей упругости. Я заправил уху, кинул перец, соль и подождал, пока у рыб побелеют глаза в кипятке, потом отставил котелок в сторону.

Хозяин помыл бидоны, собрал вожжи и круто развернул мерина. Колеса крепко завязли. Телега накренилась. Возчик вытащил кнут и ударил мерина под живот, где больней. В этом месте вспухла полоса. Он ударил еще раз, и лошадь чуть не упала на колени. Потом он сообразил, что взял слишком круто, дернул за левую вожжу. Телега выехала на гору. Я чуть не заорал на этого контуженого, видел его бессмысленные глаза, когда он оглянулся, но вспомнил, как вчера убивал острогой лягушек, живьем разделявал их.

Разомлевший на солнце пастух пригнал на водопой стадо. Пегая корова, делая на ходу лепешки, надула жи-

вот и замычала. Стадо вошло в воду. Пастух сел ко мне. Я дал ему ложку. Он покопался в полевой сумке, извлек чекушку и пластмассовый стакан. Мы по очереди выпили.

— Что с девкой не нацеловаться, то ершей не наедаться, — сказал пастух, сплевывая кости, и пожаловался, что сегодня праздник, к столу не попасть до вечера, что в пастухи никто не идет, молодые в город дезертируют, на «педагогов» учиться.

Он выпил еще и крикнул:

— Сенька, скажи Алексею Иванычу, сиг в гавань заплыл!

Мальчишка не удостоил повернуться к нему, что-то буркнул.

Пастух подмигнул мне:

— Рыбак, хлебом не корми. Мать с отцом утонули прошлую осень на путине. Шторм океанный был неделю. Без присмотра малец, у дядьки своих четверо по лавкам. Жись наша. . .

Пастух встал, щелкнул бичом. Коровы зашевелились в воде. Пегая, чавкая разбитыми копытами, вылезла первая. Она была главная в стаде.

— Будьте здоровы, — сказал пастух.

Я посмотрел ему вслед, спина у него была молодая.

Я долго загорал среди камней. Сенька ушел, не прощавшись. В море торчал большой камень. На нем сидели чайки с тонкими ногами. Под прямым парусом плыла лодка. Темные лица рыбаков были повернуты в мою сторону.

Когда я вернулся, деревня была пустая, только бегали собаки с высунутыми языками да встретилась разряженная в капрон девка.

Дома я выпил холодного молока и через дыру в изгороди направился к Ленкиной даче. На улице было пустынно, жарко. В саду, с северной стороны дома, сидела Евгения Павловна на корточках, ковырялась в дамском велосипеде. Лицо у нее было расстрешенное.

— Мне вас бог послал, — сказала она, когда я поздоровался. Руки у нее были выпачканы отработанным маслом, держала их на отлете. — Посмотрите, что можно сделать. Колесо спустило.

Я посмотрел.

— Надо кленть. Есть у вас клей и резина?

— Нет.

— Попросите у соседей.

Она вытерла локтем пот со лба и растерянно проговорила:

— Я спрашивала, все на ярмарку уехали, одни старухи сидят. Я обещала Марку Иванычу обед привезти. Он на озерах отдыхает. Очень далеко отсюда. Я раз была там. Комары ужасные. Не знаю, почему мужу нравятся лесные озера, кругом воды сколько угодно и пляжи хорошие. На ярмарку хотела успеть, теперь все расстроилось. . .

— Я отнесу обед, — предложил я.

Она посмотрела на меня пристально.

— Вы серьезно?

— Что ж, — ответил я, — семь километров пустяк. За час доберусь. Все равно делать нечего.

— Определенно мне вас providение послало. Если вас не затруднит. Знаете, где озера?

— Знаю.

Лицо ее совершенно прояснилось, стало приятным. Она сняла сетку с руки.

— Он хотел, чтобы я приехала. Я обещала. Вы ему скажете, что я очень хотела? Я читала ваши стихи. Они великолепны. Марк Иваныч хвалил вас. Говорил, что поможет вам поступить в Литературный институт. У него связи. . .

Мне стало неприятно от ее безудержной похвалы. Она подошла к рукомойнику, нѣмылила щеткой прекрасные руки. И лживая улыбка застыла на ее лице.

Чтобы сократить путь, я свернул в лес, но тропа скоро

кончилась. Лес был захламлен, вповалку лежали стволы, одуряюще пахло багульником и хвоей. Много встречалось лосиного помета.

Наконец я выбрался на бетонку. Ветер переменялся, подул с запада. По небу неслись дырявые облака. Солнце рвалось сквозь них косыми столбами. Я снял кеды и ступал босиком по мягкой смоле на стыках бетонных плит. Было приятно идти, отпечатывать следы на битуме. На проводах сидели ласточки. Ветер задирали им хвосты. . . У края дороги стоял дом лесника. Две лесниковы дочки набирали воду в колодце.

— Заньки, — сказал я, — дайте водички в долг, жабры подсохли.

Они заулыбались большими ртами, вытащили ведро на край сруба. В ведре плавали гнилушки, зеленый мох. Я приложился к ледяной влаге, отдувая мусор, долго пил, пока не занули зубы. Вытер рукавом губы и в благодарность скроил лесничихам рожу. Девчонки прыснули, побежали с ведрами в дом. Старшей было лет тринадцать, она чем-то походила на Ленку: у нее было стремительное лицо. В лесу кашляла птица. Я надел кеды и вылез на большую дорогу. На обочине стояла машина, нахлобучив на глаза сено.

Шофер в замасленной кепке сидел на подножке. Увидел меня и страшно обрадовался, махнул рукой, чтобы я подошел.

— Друг, помоги. Сено разваливается, уложили, черти, кое-как. Одному не справиться.

Он дал мне скользкие вилы, сам полез наверх. Я положил сетку на крыло и минут тридцать подавал навильники. Шофер прыгал, утапывал сено, кричал и поторапливал меня, будто нанял. Сено было хорошее. В охотку было приятно работать. Я подал шоферу гнет, которым он прижал воз сверху, а я затянул пеньковой веревкой конец слегги за бортовые крюки. Все было сделано как надо. Шофер был очень доволен. Мы покурили.

— Поехали, подкину.

— Нет, — сказал я. — Мне в другую сторону.

— Как хочешь, на том свете угольками разберемся. Я снял сетку, и он уехал.

На первом озере Марка Ивановича не оказалось. Я пробежал метров пятьсот до второго. Ветра в лесу не было, только печально гудели вершины. Озеро было небольшое, но вода в нем стояла черная. Местные вообще не ходили сюда. Марк Иванович не удивился, увидев меня, снял канотье, приветливо помахал. В траве лежал его велосипед, блестя никелем. На пеньке стоял транзистор с убранной антенной. Я поздоровался и сказал, что случилось. Марк Иванович кивнул:

— Зря беспокоились. Очень зря. Природа натошак воспринимается лучше.

Я развернул пакет, поставил флягу с молоком в мох. Марк Иванович сел на пень обедать.

— Мне бы палатку сюда, неделю бы жил. Но Женечка боится. Комарья — армада, только «дэтой» спасаюсь...

«Ни черта она не боится», — подумал я, вспомнив, какое у нее было холодное расчетливое лицо, и спросил:

— Вы рыбу ловите?

Марк Иванович помыл флягу и показал черных окуней в сетке. Оковалки были приличные. Я прошелся по берегу. Озеро погибало. Трясина надвинулась на него. Под ней было метров шесть глубины. Трясина качалась, когда по ней ходили. Под этим навесом прятались от жары окуни. В воде по упавшему стволу бегал паук-серебрянка. У Марка Ивановича были поставлены три донные удочки с колокольчиками. От шагов пружинистый берег сотрясался, и колокольчики тихо позванивали.

Я проверил удочки, наживка была объедена.

— Червяки здесь не годятся, — сказал я и пошел туда, где было мелко.

Поднимал коряги и снимал с них черные личинки

стрекоз для наживки. Они были жесткие, страшные на вид. Рыбаки называют их «страшилами».

— Вот будет еда, не оторвешь, пока не проглотишь, — сказал я и показал, как их насаживают.

Марк Иванович рассеянно слушал меня. Лицо у него покрылось красными пятнами. Он то и дело хватался за грудь и бормотал:

— Солнце здесь было мощное, перегрелся.

Наклонился к черному омуту, намочил голову, вода текла ему за ворот рубашки. Я забросил донки, отмахиваясь от наседавших комаров. Руки у меня были в крови. Он даже не предложил мне своей «дэты», будто не видел, что я мучаюсь. Наверху гудел ветер. Мы стояли на дне леса, стрекозы висели над нами.

Тучи закрыли небо. Лес и это проклятое болото почернели. Лицо Марка Ивановича побледнело, руки у него тряслись.

— Пора домой, — сказал я. — Вам нужно отдохнуть.

— Да, да, — рассеянно согласился он.

Мы стали собирать вещи. Я вынул донки, они были пусты, рыба чувствовала непогоду. До шоссе мы шли вместе. На открытом пространстве ветер валил с ног.

— Циклон! — весело закричал Марк Иванович. — Эх! На море — тум-тарарам. . . Садитесь.

— Двоих не сvezет. Езжайте.

Он кивнул, задрал ногу на раму и поехал, вихляя передним колесом. Ветер дул ему в бок. Марк Иванович стал давить на педали. Согбенная фигура его с рюкзаком начала медленно удаляться. На душе у меня было спокойно. На небе шла кутерьма. Тучи разнузданно бежали над побелевшим морем. На юге виднелась какая-то мрачная дыра. В эту яму неслись мелкие рваные облака, словно их всасывало в прорву. Кругом все казалось пустынным и одиноким. Обглоданные ветром береговые деревья трепетали, как полотнища знамен.

Проселочная дорога сворачивала влево и подымалась на плешивый холм, на котором не хотели расти деревья. На вершине стоял триангуляционный знак. Около него сидел человек со скрещенными руками. Знак был немного в стороне. На песке валялся велосипед. Вывернутое колесо крутилось от ветра. Я подошел, посмотрел в лицо Марка Ивановича. Глаза у него были закрыты.

— Что с вами?

Он медленно поднял веки. Из правого глаза выкатилась слеза.

— Все, — сказал он.

— Что все?

— В груди. . . Я упал.

— Ничего, сейчас отдохнете, и мы пойдем потихоньку.

Он пошевелил головой:

— Я моргнуть боюсь, такая боль.

Глаза у него провалились, рот вытянулся. Я пощупал пульс, но не нашел. Рука была очень холодная.

Я постелил в затишке вельветовую куртку, чтобы Марка Ивановича не продувало, и оттащил его в это укрытие.

— Я сметаю за транспортом. Не шевелитесь, ради бога. Через десять минут приеду, — сказал я уверенно, будто машина стояла за углом. Моя мать умерла от инфаркта, я боялся нести его на себе три километра.

Велосипед бешено покатился с горы. Тут недалеко был рыбацкий совхоз. Я свернул на пустынную улицу. На конторе висел замок. Я постоял у крыльца с окурками и пошел по мосткам в левый угловой дом. Дверь мне открыл священник. Я раз видел его в храме, куда мы заглянули из праздного любопытства. Он был в рубашке навыпуск и яловых сапогах. Я очень торопился, объяснил ситуацию, и он понял. Голова у него была сильно сжата у висков, волосы как у хиппи. Священник был вежлив.

— Сын мой, я далек от мирских забот. Вряд ли доставите машину — начальство в районе на празднике, гараж

закрыт, заведующий живет в пяти километрах отсюда. Я помогу донести, вызовем врача. Дело божье.

Он перекрестился и хотел идти со мной.

— Нет, — упрямо сказал я. — Он не выживет, если не вызовем «скорую». Надо сразу в больницу.

— Тут механик недалеко, у него мотоцикл с коляской, если он дома, телефон есть. . . Я буду ждать на развилке в случае чего. . . — Священник посмотрел на велосипед, снова перекрестился и показал направление.

Я выехал на бутовое шоссе. Переднее колесо вихляло, наскакивая на камни. Справа виднелась мыза, сложенная из плитняка. Ветер гудел где-то вверху. Я старался не думать, что поступил неправильно, оставил человека в песчаной яме на ветру. Уже прошло минут пятнадцать, как я бросил больного. Я работал ногами, педали гнулись, рот был набит слюной от такой езды. Чуть не проскочил этот хутор. Во дворе стоял грузовик, дверца была открыта. Прямо счастье мне привалило.

Грязный зубастый кобель вышел навстречу. Я посмотрел ему в глаза, он поджал хвост и пропустил.

Спиной к двери сидели два эстонца в галифе и белых рубахах. Из-за стола встала женщина.

— Мне нужен шофер, — сказал я.

— Ифан, — позвала женщина.

Из спальни высунулась лохматая голова моего знакомого. Видно, он хотел только переодеться, чтобы сесть за стол, заваленный закусками. Он сразу узнал меня.

— А, это ты, друг ситный, проходи, гостем будешь.

— Нужно человека отвезти в город, в больницу.

— Никуда не поеду, ты что, смеешься! Садись за стол, рванем помалу, — и он помахал черным неотмытым пальцем.

— Кум Ифан, у человека бета. . . — укоризненно сказала женщина и утерла платком рот, будто собиралась плакать.

Я стал говорить, в чем дело. Эстонцы поднялись из-за стола. Оба коренастые. От самогона глаза у них были голубые. Старший что-то сказал женщине по-эстонски. . . Она вынесла полушубок.

Шофер с сожалением оглядел обильный стол, крикнул:

— Ладно, навязался на мою голову. . .

Взял полушубок у хозяйки, и мы вышли. Эстонцы стояли на крыльце, держа друг друга руками.

Мотор завелся сразу. Иван попятил машину на дорожку.

— Все, — сказал он. — Теперь держись. Дай сигару.

Я прикурнул и дал. Камни со свистом полетели из-под колес.

Святой отец не обманул: ждал у развилки с одеялом под мышкой. На нем было длинное, как ряса, пальто. Полы на ветру хлопали по голенищам. Я приоткрыл дверцу, помахал рукой: мол, все в порядке. Мы даже не остановились.

— Поп не к добру, — сказал Иван, выплевывая сигарету в окно.

— Он хотел помочь, если я не достану машину. . .

— Черт гривастый, денег у него, как грязи. Машина своя.

— Да ну? — удивился я.

Ветер на холме был еще сильнее. Залив стал седой. Смеркалось. Марк Иванович лежал на боку скорчившись. Лицо заострилось, он был в шоке.

Нас приняла желтая костлявая врачиха. Она пощупала пульс у Марка Ивановича на шее, потом сделала несколько уколов. Я сидел в вестибюле и наблюдал через стеклянную дверь. На белой стене висели круглые часы, секундная стрелка прыгала на одной ноге. Марка Ивановича унесли.

— Вы не родственник? — спросила врачиха.

— Нет, — сказал я.

Но она записала мою фамилию и сказала:

— Не ждите, придете утром.

— Он будет жить?

— Я не бог, — ответила она. — Как это вам пришло в голову везти человека в таком состоянии? Просто чудо, что он не погиб в дороге.

Мы вернулись, была полночь. Шофер высадил меня.

— Ты извини, — сказал я. — Праздник тебе испортил.

— Ничего, — сказал Иван. — Завтра наверстаю. У меня выходной.

Он развернул машину, мигнул красным сигналом и уехал.

В некоторых домах еще гуляли, горело электричество. У колхозного сада куражились два рыбака, с ними стояли Белка со Стрелкой. Я слышал, как они разговаривали, собираясь идти в какой-то дом. Девушки были в брючных костюмах. Я прошел мимо. Белка что-то сказала, я не расслышал.

— И этот? — спросил хриплый мужской голос.

— Был с ними, — сказала Стрелка.

Я шел быстро, сзади послышался топот. Я резко остановился, рыбак чуть не налетел на меня.

— Постой, потолкуем, — сказал он.

— Мне некогда.

Он размахнулся, я присел. По инерции он упал в мощные лопухи. Я подождал. Он встал.

— Все? — спросил я.

Его заело. Он размахнулся еще раз, я нырнул ему под локоть. На этот раз он не упал, но долго соображал, куда я девался. Второй ухажер, видно, не хотел драться, стоял и смотрел.

— Ловкий лось, — сказала Стрелка. — Какие из вас мужики?

— Он приемы знает, — сказал тот, что не хотел ввязываться.

— Дурачье, — сказал я.

Вслед мне послышалось беззлобное ругательство.

Дверь мне открыл хозяин. Он пришел из гостей. Его было не узнать. Новый лавсановый костюм, лицо красное от галстука и выпивки. Симпатичный дядечка с натруженными руками. Он улыбнулся миролюбиво, не ругался, как обычно. Он не любил дачников, как человек, который всю жизнь вкалывал на полях и фермах. Мы ему казались дармоедами.

Я полез по трапу. Евгения Павловна лежала в халате на узком диване и читала Рокуэлла Кента. Она напугалась, когда я вошел без стука. Села, нижняя пуговица халата расстегнута, ноги были очень голые.

— Что? — спросила она.

Из моего рассказа поняла, что у него легкий приступ.

— Господи, — сказала она. — Через неделю он должен ехать на симпозиум за границу, у него доклад. Какая досада. . .

До нее, видимо, не дошло. Она поправила волосы и посмотрела на себя в зеркало.

— Я сейчас поеду, — сказала она. — Вы можете мне?

— Нет, — ответил я. — Машины не ходят, катер пойдет в шесть, если уляжется погода.

Евгения Павловна нервно хрустнула сцепленными пальцами и посмотрела в темное окно. Ветер порывами бросал в стекла водяную пыль.

— Ужасная ночь. Я все равно не усну. Леночки нет. Не знаете, где Леночка? Марк такой здоровый был, никогда не болел. . . — Она глянула на часы. — Найдите Лену. Где Лена? Господи, он никогда не жаловался.

Она заметалась по комнате, достала таблетки элениума, приняла их. Дом сотряслся от ударов ветра. Стул слабо затворенный ставень.

— Пойду, — сказал я. — Утром зайдите за мной. Успокойтесь, все будет хорошо. . .

— Найдите брата или Лену, я вас прошу.

— Зачем вам мой брат?

— Вы не поняли. Моего двоюродного, Аполлошу. Вы же знаете его. Мы вместе росли, учились, он очень любит меня. Он где-нибудь достанет транспорт, если вы не хотите. Возьмите плащ. Какое несчастье, какое несчастье...

Она сняла с вешалки прозрачную накидку. В глазах стояли слезы. Я так и остолбенел, мне казалось, что она придумала про Аполлона Георгиевича, но слова ее были искренни, да и зачем ей врать в такой момент. Просто я — сволочь, думаю о людях плохо, как и Аркашка, у которого я учился понимать жизнь.

Евгения Павловна проводила меня вниз.

В сарае, где мы спали, дверь была закрыта. Дождь лил как из ведра. Я повесил накидку на гвоздь и ударил ногой в дверь.

— А черт, — сказал Аркашка, шурша сеном.

По голосу я понял, что он навеселе. Он отодвинул застав, вышел под навес.

— Роднуля, извини, но придется тебе спать у бабки.

— Пусти, — сказал я.

Брат ухмыльнулся.

— Никуда не пушу. Мы только пришли. Фортинбрас коньяком напоил всех. Я о тебе позаботился. На кухне полбутылки. Валяй, празднуй, чадо двусмысленное.

— Не гаерничай, — оборвал я.

Аркадий плотно закрыл дверь.

— Знаешь, Ленка веселая, ужас какая. Тебе понятно?

Мы стояли под навесом. Плечо брата высывалось наружу, рукав быстро темнел от падающей струи. Он не чувствовал.

— Пусти, — сказал я.

— Не пушу, — упрямо повторил брат. Его было не спихнуть.

— Мне надо что-то сказать.

— Завтра скажешь.

— Пусты, — сказал я.

Он начал злиться:

— Хочешь, чтобы на дождь тебя выкинул?

— У нее отец помирает, — сказал я.

— Ничего лучшего не придумал? Думаешь, не знаю, что ты следишь за нами? — Он помахал кулаком в темноте.

— У нее отец умирает, — повторил я.

— Не обманешь. Я давно догадался, что ты заришься на нее. Эта девушка не для тебя. Ты всю жизнь завидуешь всем. Мать тебя не любила за это!

Во мне поднималось какое-то страшное чувство. Я весь дрожал.

— Мать не трогай, — цепenea, сказал я.

Брат пощупал мокрое плечо.

— Уйдешь ты, глиномаз чертов? — Он стал бледнеть, даже в темноте было заметно, как он побледнел.

У меня челюсть запрыгала.

— Кретин зобатый! — заорал я. — Нарцисс самодовольный, любишь только сам себя. . .

Не помню, что я еще кричал ему, но мне показалось, что он хочет ударить. Я оттолкнул его на дождь. Брат выругался. Руки у него стали длинные. Внутри у меня что-то екнуло, как на ходу селезенка у лошади. Я сел. Он ждал, когда я поднимусь.

Я, наверное, сидел в луже, потому что чувствовал, как намокают джинсы. Когда приподнялся, он ударил меня. Мы покатались под дождь. Он бил, не давая отдыха.

Я бешено вывернулся, было очень скользко под дождем, и брату не удавалось ударить меня в полную силу. Я вынес правую руку, а ударил левой, всем телом. Он не ожидал, что я ударю левой. Согнулся пополам, потом заревел и двинулся на меня. Сейчас его было не остановить. Я поскользнулся, упал на колени и на руки, по-

смотрел на него снизу. Он совсем озверел, ударил меня ногой. Я, кажется, потерял сознание. Когда очнулся от холодного дождя, услышал, как они разговаривают.

— Надо отнести в постель, — сказал брат.

Я приподнялся на локтях и отполз по мокрой траве за дрова.

— Его здесь нет, — сказала Ленка.

Брат посветил ручным фонарем.

— Был здесь.

— Вы с ума сошли. Я заснула, когда ты вышел. Ничего не слышала. Тебе больно, милый?

— Куда он девался?

— Ты сильно его избил?

— Не знаю. Он совсем свихнулся, пришлось проучить.

— Все равно нехорошо поступил. Он твой брат. . .

— Он ударил меня первый. Я, кажется, руку вывихнул.

— Больно?

Они прошли мимо. Остановились. Я слышал, как поцеловались. Слезы полились из моих глаз. Я лежал, прижимаясь к шершавой пахучей коре бревна, и плакал.

— Господи, где же он?

— Раз очнулся, все в порядке. Надо в доме посмотреть. Рука действительно распухла.

— Дурачочек ты какой.

— Мне кажется, он в тебя влюбился. Знаешь, как он врал мне? Говорит, что у тебя отец помирает. . .

— Ерунда какая, — сказала Ленка.

— Я тоже говорю — ерунда.

— Ты меня больше любишь, чем твой брат?

Они ушли в дом, потом направились к Ленкиной даче. Петухи орали по всей деревне. Дождь уже прошел. Под застрехой ворковал уцелевший от супа голубь.

Я встал шатаясь, вымылся из переполненной бочки, зашел в хату. Макарониха спала, всхлипывая во сне. Я переменял брюки, рубашку, надел теплую канадку, взял свои шмутки и вышел. Сквозь край тучи виднелась заря. Я шел по дороге к пристани и плевался кровью. В основании черепа что-то похрустывало. Ветер уже угомонился. Вымытые звезды отражались в теплых лесных лужах. Когда я пришел к пристани, всюю была заря. На понтоне маячила фигура в плаще. Я узнал Сеньку.

— Что рано? — спросил я.

— Рыбу ловлю. Чо морда-то опухши?

— Пчелы покусали.

Сенька недоверчиво сплюнул, но из деликатности промолчал.

— Катер-то придет? — спросил я.

— Куда денется, ветер стих. Щас рыба будет, соленой воды нагнало штормом, она к берегу прет. Садись, — предложил Сенька, снял брезентовый плащ и подстелил. Мы сели, свесив ноги.

На берегу было много пены, качалась дохлая чайка на воде. Вдалеке плыл пароход, груженный по самую трубу лесом. Он сидел очень низко в воде и на фоне зари был отчетливо виден со своими огнями.

Сенька вытащил из-за пазухи краюху хлеба, отломил половину и протянул, как старшему брату. Я взял этот кусок, согретый его телом, и стал жевать. От сукровицы во рту хлеб был сладким и тяжелым. Я еле проглатывал липкие комки.

— Вырежь удилище, леска есть. Буду тоже рыбу ловить, — попросил я, когда мы закончили святую трапезу.

Он ушел искать орешник. На мысу вспыхивал маяк. Ветер стих.

Из воды выковыривалось солнце, освещая мертвую зыбь.

Впереди было чисто



получив авиабилеты и командировочные с получкой, Гришаня поехал в магазин «Спортовары». Долго шатался среди выставленных лодок и катеров. Стучал по дюралевым днищам, шупал оргстекло.

Денег было двести пятьдесят рублей — на кредит хватит, если не считать доставки. Дешевую он не хотел брать. Решил отложить покупку до лучших времен. Нужно было поискать пальто: в старом уже стыдно ходить.

Ему здорово повезло: в Гостином выкинули японские куртки. Торговый зал был набит людьми под завязку.

Гришаня занял очередь. Выстоял час; пока донесли до прилавка.

Куртки быстро расхватали. Последнюю — сорок восьмой размер — чуть не увели из-под рук. Позади стоявшая дамочка с выщипанными бровями, как клещ, вцепилась в куртку:

— Выпишите, выпишите.

Продавщица заступилась:

— Иди, парень, мерь.

На радостях Гришаня переплатил червонец. Хорошо, женщина-кассир попалась совестливая, — вернула.

Тут же в магазине он переоделся. Выйдя на улицу, зашел в подворотню и свою драп-дерюгу, что еще мать справляла, повесил на мусорный бак. Налегке зашагал к центру.

В учреждениях начался обеденный перерыв. Народ валом валил в кафе и столовые. С Аничкова моста катили автобусы с туристами. Асфальт был высушен колесами до лоска. С крыш текло. Из водосточных труб с грохотом вылетали ледяные болванки.

Гришаня не курил, но для полного шика приобрел в киоске пачку «Стюардессы». Воздух был пропитан весен-

ними сырыми ветрами. Было приятно идти в общем потоке.

Он гордо шествовал по тротуару с сигаретой в зубах. На ходу прикурил у бородатого студента, который оглядел новую куртку и ухмыльнулся:

— Этикетку оторвите, сэ-эр.

Гришаня чуть от стыда не сгорел. Хорош гусь, нечего сказать, по городу с картонкой шел... То-то встречные девушки улыбались. Гришаня оторвал предательскую этикетку и сунул ее в карман, чтобы на досуге рассмотреть нероглифы.

У винного подвала стояли напоказ веселые гренадеры в распахнутых дубленках. У одного в руках был лакированный чемоданчик, входивший в моду, который он отставлял далеко в сторону, как бы говоря: «А вот у меня какая замечательная штука есть!»

Его приятель шурился на молодых женщин и от восторга прищелкивал языком:

— А что, Марк, прогуляемся, пожалуй. Скажем, в тресте задержались.

Парни радостно загоготали, ввинчиваясь в толпу.

«Работнички», — подумал Гришаня и тоже начал присматриваться к девушкам. Стайки продавщиц в атласных халатиках перебегали дорогу. Выбирай любую...

Над зданием райисполкома тяжело полоскался стяг. На карнизах сидели голуби и смотрели сверху на проходивших людей.

У кинотеатра бурлил водоворот молодежи. Две модницы в расклешенных пальто разглядывали рекламу французского фильма с участием знаменитого актера. На отворотах у них были прицеплены одинаковые брошки, похожие на собачьи жетоны. Одна девушка была с коком на голове. Вторая — с роскошными волосами до лопаток. Вздернутый носик придавал ее лицу милую дерзость.

Гришаня слегка задел ее плечом и заулыбался:

— Смотрим, да?

— А тебе чего? — Она толкнула подругу. — Смотри, Галя, еще один чувак клеится. Что будем делать?

Гришаня не растерялся и развязно шаркнул ногой о тротуар:

— Бонжур, могу дать свой парижский адрес. Я ассистент Жана-Поля. . .

— Надо же! Какое счастье. Хо-хо. Он ассистент Бельмондо.

У той, что с коком на голове, прорезался голос:

— Ну его в болото. У нас не проходной двор. Отваливай по холодку, «ассистент».

Гришаня оторопел, но тут же нашелся:

— С виду ты хорошая, а изнутри муть плывет. Зачем?

— Чеши, пока не попало, — взвилась девушка и агрессивно взмахнула сумочкой.

Прохожие стали оглядываться. Из помещения касс вышли курсанты гражданской авиации и подхватили подруг. Девушки что-то сказали авиаторам. Гришаня заспешил уйти, чтобы не нарваться на скандал.

«Познакомился, называется. Девки — вырви гвоздь, отчехвостили на все корки, так тебе и надо. Оно и понятно, парни у них — не мне чета», — грустно подумал Гришаня, вставая в очередь за билетами на вечерний сеанс. До кино нужно было успеть заскочить домой за вещами. А после — сразу в Пулково. Самолет уходит в час ночи.

От «Титана» он свернул на Литейный, сел в скрипучий троллейбус на заднее сиденье. По проходу лезла старуха с кошелками в обеих руках и злобно оглядывала сидящих.

— О господи, — бормотала она. — Спаси и помилуй.

Все сидели как приклеенные, носы отворотили. Гришане стало жаль старуху, он сделал вид, что выходит. Старуха тотчас села, растопырив локти, но лицо у нее осталось недовольное.

Был уже третий час, когда он приехал на электричке домой. Первым делом выгреб осевший снег с садовой до-

рожки. Снег был рыхлый, тяжелый от влаги. Синица прыгала в ветвях старой яблони, попискивая от любопытства. Гришаня повеселел и жмурился под лучами сильного солнца. Та старуха не выходила из головы.

«Надо навестить отца с матерью. Свинья буду, если не схожу», — подумал он и решительно воткнул лопату в сугроб.

Кладбище располагалось на холме, где росли кривые разлапистые сосны. Снег здесь сдувало ветрами. На могилах виднелись мышинные и птичьи следы. За два года оградка успела поржаветь.

Он смахнул подтаявшую наледь со скамьи и долго сидел в тишине среди крестов, сваренных из водопроводных труб.

Отец умер на работе от старой окопной болезни, когда Гришаня был в школе.

Но это было не все.

На третий день гроб выносили из клуба, мать дико вскрикнула, упала на колени, потом легла на пол. Ее трясли, давали нашатырь, думали, ей плохо. Никто не поверил, что она уже мертвая. . .

Вот как было дело.

Чужие люди похоронили их за счет торфопредприятия, где последнее время работал отец. Месяца два Гришаня по ночам соскакивал с постели от кошмаров, выбегал во двор и смотрел на блестящую дорогу. Днем ходил с красными от тоски глазами. Надо было жить одному.

Солнце стояло еще высоко, когда он вернулся. С крыш падали крупные капли, прожигая снег до земли.

В комнатах было прохладно. Гришаня погонял маг, потом собрал мелкие вещи в сумку, туда же положил билет и деньги, запер дверь и понес ключи.

Соседский кобель сыто брехнул и замолотил хвостом по стене сарая. Узнал, стервец, вместе бегали купаться. Гришаня свистнул.

Дуся кормила кур. Белые породистые птицы казались на солнце желтыми, гребни налились кровью. У Дуси в подполе всегда хранилась кадушка яиц.

— Никак обнову справил? Прямо жених, — похвалила соседка, разглядывая куртку.

Гришаня застеснялся, одернул полы и отдал ключи.

— Надолго уходишь? — поинтересовалась Дуся.

— До лета.

— Хоть бы женился, лешак. Дом без пригляду. Шатает тебя где-то. И усы стали расти. Хе-хе... — Дуся заколыхалась.

— Путную найду и женюсь, — пообещал Гришаня, понимая намек. У соседки была дочь Валя.

— Путные ноне не валяются. Вон моя телка, в коже не вместится. Джерси требует, сапоги за две сотни. Грубит, спасу нет. Не видит, что мать всю жизнь в фуфайке ходит, — завелась Дуся и махнула рукой: — Чего там! Это я так. Валентина не хуже других. Одета как куколка. Техникум заканчивает. Зашел бы в гости, зятек.

— В следующий раз, — заторопился Гришаня.

Соседка скорбно вздохнула и стала загонять кур.

От разговора у Гришани остался неприятный осадок. Сам когда-то грубил родителям. Отец хромал на левую ногу, подрезанную пехотной миной. Бывало, поедут в город — на другую лавку садился от него. Глуп был как пробка. И мать ходила не чище Дуси...

Он зашагал по дороге, разглядывая дома, встречаемых людей. Здесь жили связисты, путевые рабочие, трактористы с торфоразработок.

Вон Коля-монтер потопал на подстанцию, под глазом синяк — знак супружеской власти. Опять с Таисией не поладил...

Коля застеснялся Гришани, свернул с тропки, вроде не узнал. Бабка Мелентьева с продуктовой торбой ползла в магазин, где у крыльца колготились рыбаки из города.

На ярком снегу чернели штабеля шпал с торцами, выкрашенными известкой.

В зале ожидания сидел хмурый дед с ящиком плотницких инструментов. Спросил закурить. Гришаня подавил ему всю пачку.

Вышла дежурная по станции и объявила:

— Электричку отменили. С энергией что-то на круге.

— Во бракоделы! — культурно выругался старик и лег на скамью подремать. В зале было тепло.

Гришаня решил идти на шоссе. Автобусы в город ходили часто. Теперь в кино не успеть, хотя бы добраться до аэропорта.

Он вышел во двор. Станция была пустынна. В лучах вечернего солнца блестели бетонные столбы. Контактная сеть была туго натянута противовесами. На дороге играли в хоккей пацаны. Портфели валялись в снегу.

Гришаня зашагал к выходным стрелкам. Крестовины их были вычищены, смазаны керосином. Мать Гришани работала здесь пятнадцать лет. Он бегал сюда, помогал ей: мел венником переводы, протирал фонари. Знал по именам маневровых машинистов, составителей, сцепщиков, что формировали вертушки с торфом. Детство прошло под гудки и лязг буферов.

Теперь все изменилось: стрелки перевели на автоматику, «овечку» отправили в мартен. . .

К заброшенной будке были прислонены щиты с полосами, куча ржавых костылей валялась на крыльце.

Тропа была залита водой. Гришаня подошел к насыпи. Шпалы уже отопрели, по ним легко было идти.

Под откосом плотно стояли елки. Казалось, они кололи бока друг другу. Верхушки деревьев еще держали снег. Он подтаивал, капал на нижние ветви, уже свободные от снега.

Солнце светило в глаза, и Гришаня не сразу заметил белесый грейдер, застрявший на рельсах. Нож его блестел, как зеркало. В моторе копался человек.

Когда-то здесь был переезд, но потом его закрыли: он мешал движению поездов. Наверняка это был чужой тракторист, а то бы он не поехал по разбитому настилу.

«Что он — озверел, сейчас же скорый пойдет», — с тревогой подумал Гришаня, прибавляя шаг. Потом окликнул:

— Эй! Как это тебя угораздило, друг?

Тракторист поднял голову и вытерся грязной ветошью. Пальцы у него были сбиты до крови — видно, он давно мучился с мотором.

— Как, как... Заглох. Иглы распылителей заклинило в трех цилиндрах, чтоб им пусто было. — Парень заморгал короткими ресницами и добавил: — Мы — газовщики, трассу тянем. Всегда тут ездим...

— Молодцы, — похвалил Гришаня, соображая, с какой скоростью здесь прут составы. Не успеть машинисту затормозить. — Честное слово, будешь канителиться, наделаешь беды.

— Чего?

— Вот чудило, на рельсах стоит и спрашивает. — Гришаня посмотрел на часы. — Через семь минут — поезд. Он никогда не опаздывает. У тебя есть красная тряпка?

Лицо тракториста под грязью побелело, как мел.

— Ничего у меня нет.

— Попробуй завести. Только не нервничай. Будешь психовать, ничего не выйдет. Съедешь — зажги солярку на дороге, чтобы я видел дым. Я попытаюсь задержать, если получится...

Тракторист кивнул, будто все уже было в порядке, и стал накачивать пускач. Грейдер сидел крепко.

Гришаня бросил сумку в кусты, распахнул куртку и ударил с места бешеной растяжкой. Щебенка с хрустом стреляла из-под ног. До поворота было метров во семьсот.

«Только бы не разбиться, только бы не разбиться», — думал Гришаня, следя за изгибом рельсов. Он оборачивался раза четыре, но грейдер по-прежнему зловеще поблескивал стеклами кабины. Затарахтел пускач и снова заглох. Гришаня надал ходу. Он взмок, волосы прилипли ко лбу. Ноги стали тяжелеть. Опять оглянулся. Переезда было не видно, никакого звука оттуда.

Впереди был мост. Деревья висели над яром. Наломанные ветром сучья глубоко врезались в наст. Навстречу выползал поезд с медными от заходящего солнца окнами. Скорый!

Гришаня уже не мог бежать. Во рту пересохло. Он проковылял через узкий мост, стаскивая с плеч куртку. Одолевал еще пятьдесят метров. Тогда остановился и стал давать «стоп», как это делали сцепщики, размахивая курткой.

С уклона шел свистящий гул. Машинист высунулся из будки по пояс, но не сбавлял скорости, словно обалдел там, не понимал сигнала.

С тупым мальчишеским страхом Гришаня подумал, что ему ни за что не остановить красный поезд. В груди у него все похолодело.

«Околей за пультом, не сойду».

И машинист не выдержал, врубил тормоз. Гришаня видел, как из-под колес посыпались искры. Послышался раздражающий скрежет стали. Гришаня кувырнулся под откос, обдирая руки острыми камнями.

Он упал в ледяную канаву и сел, жадно хватая ноздреватый снег руками, размазывая его по лицу.

Потом выкарабкался наверх, подобрал куртку у вагонных колес и, припадая на правую ногу, побежал в лес, не понимая, что делает.

От тепловоза бежал огромный человек. Испуганные пассажиры выглядывали из окон.

Помощник машиниста прыжками нагнал Гришаню и больно схватил за плечо:

— Тебе чего — жить надоело? Бежать вздумал. От меня не убежишь!

— Чего орешь над ухом? — вяло огрызнулся Гришаня, стараясь попасть руками в рукава куртки. Подкладка была изодрана, в мазутных пятнах, крепко ее зацепило железом и отбросило. Пропало добротное шитье...

Помогала грубо толкнул Гришаню в спину:

— Пошли, налюбуйешься в отрезвиловке.

Машинист отпустил тормоз. Чугунные колодки со скрипом отлипали от бандажей. Придерживая планшетку, с подножки соскочил бригадир.

— В чем дело, Михаил?

— За речку хотел драпануть. Прошлый год на этом перегоне двоих сусликов поймали: повадились стекла бить в вагонах камнями. А этот еще чище додумался — сигнал остановки давал. На Кировской дороге уже был подобный случай — волосатики из хулиганских побуждений петарды подложили под товарняк... А ну, отвечай, мерзавец, зачем поезд остановил?

— Чего мелешь-то? Сначала узнай. Трактор застрял на переезде...

— Нет тут переезда.

— Был, лет пять назад прикрыли...

— Сомнительно, я тут каждый столб знаю, — не поверил и бригадир. — Пошли, герой, карман с дырой. Выясним.

Вдвоем уцепили под белые руки, вели под конвоем в голову состава.

«Баня будет газовщику», — подумал Гришаня, слегка упираясь.

— Показывай свой трактор.

— Тут где-нибудь стоит...

Издали было видно, что грейдер улетел. Тихо было в лесу. На размочаленном настиле валялась промасленная тряпка...

Солнце уже зашло, быстро темнело.

— Ну что я говорил, Евгений Иванович?

— Действительно переезд. Вспомнил я. Вон «кирпич», как решето, из ружья кто-то баловался... — Бригадир почесал в затылке.

— Да врет он — по роже видно. Если бы был трактор, в кусты бы не хоронился.

— Напугался я, — сказал Гришаня.

— Рассказывай басни... У, зараза! — Помогала неожиданно саданул Гришаню под вздох. Гришаня согнулся пополам, держа обеими руками живот. Потом поднял голову и по-детски закричал:

— Чо дерешься, сундук с гвоздями? Была машина...

— Поговори, отрод. — Помогала снова замахнулся.

Гришаня успел уйти ему под локоть и прыгнул в кусты. Неудачно однако: ушибленной ногой за корягу задел, шмякнулся о наледь. Аж круги в глазах поплыли, нос расквасил о кочку шершавую.

Бригадир гулко рокотал на рельсах:

— Уймись, Михаил. Негоже руки распускать. Надо закон блюсти.

— Я ему покажу закон! Останавливать поезд — шутка? Сам шустряк как заяц сиганул.

Гришаня сидел на снегу, стараясь унять кровь из носа. Увидел сумку. Лежала она шагах в пяти, мокрая сверху. Железнодорожники совещались.

— Составим акт. Может, было что. След есть. Пробеги за угол, не стоит ли?

— Никого нет, — сказал Михаил, вернувшись. — В линейную милицию сдадим. Пусть посидит пятнадцать суток. И штрафу рублей сто приляпают охламону...

Гришаня вовремя сообразил, что дело плохо, надо рвать когти, пока не поздно. Последний автобус вот-вот уйдет.

Михаил двинулся к кустам.

— Вставай, хватит притворяться!

Гришаня напрягся, подскочил, как пружина, и сгреб на бегу сумку.

— Ах так, вот сволочь. Держи его!

Гришаня махнул по целине. Позади слышался топот. Треща сучьями, Михаил ломился через кусты, но скоро отстал, пыхтя, как изношенный паровоз.

— Погоди, попадешься на узкой дорожке. . .

Он потряс в сумраке тяжелым кулаком и направился к поезду. Машинист что-то крикнул. Тепловоз зачадил черным дымом. На высоких оборотах зазвенели дизеля. Состав мягко тронулся. Помощник машиниста полез в будку, матерясь на чем свет стоит. Бригадир с подножки давал разрешающий сигнал.

Впереди было чисто.

Гришаня выбрался на обочину, сел на поваленное дерево, всхлипывая, подбирая кровь рукавом. На белом болоте одиноко каркала птица.

— Эй, паря! — тихо окликнул кто-то.

На дороге стоял тракторист и слегка раскачивался.

— Уехали, кажись. Снег приложи. Кровища, как из кабана, хлещет. . . Кто это тебя угостил?

— Так, знакомый, — ответил Гришаня.

— Ловко ты от них удрал, я видел. Чего сказали?

— Велели передать, что ты сука, а не матрос.

Он встал, скользя по ледяным плешам дороги, пошел в сторону автобусной остановки, темневшей на горе.

Тракторист забежал вперед, заглядывая в глаза.

— Прости, паря. Сдрейфил я. Зря ты этакую махину остановил. Успел я съехать. И — давай бог ноги. Думал, шито-крыто. Сам знаешь, права отберут — семья, дети. И паклю не зажег. . . Ы-эх!

Лицо тракториста было жалкое, просящее, бледный рот болезненно кривился в виноватой улыбке:

— Прости, паря. Ну, дай мне по морде. Только не молчи. . .

Гришаня оттолкнул его плечом:

— Уйди!

Спрятанный на опушке грейдер урчал теплым двигателем.

Тракторист остановился. Спина у него была сутулая. Он махнул рукой, полез в дрожащую от мотора кабину, включил фары. Дорога осветилась серебристым светом.

Грейдер злобно рыкнул. Тракторист вдруг высунулся и закричал:

— Подумаешь, чистоплюй! Сам виноват, никто тебя не просил. Лезешь не в свое дело. В гробу я тебя видел, понял? — надсаживаясь, орал он вслед.

Гришаня даже не обернулся, шлепал посредине разбухшей дороги и негнувшимися губами насвистывал грустный мотив.

Не было уже у него зла ни на этого человека, ни на железнодорожников, ступевших от быстросвистящей работы. И японской куртки было не жалко. Тряпка, одно слово...

— «Эта ночь для меня вне закона!» — гаркнул Гришаня песню.

Самое главное — на автобус он успел.

Спасение на водах



Наш буксир «Марсианин» во время войны тащил баржи со снарядами, тралил мины. В сорок седьмом году его передали в торговый флот.

Мы ходили в Данию собирать семенной хлеб по островам. Доставили лихтер в Калининград и пошли полным ходом в латвийский порт, где нам предстояло замещать буксир-спасатель, который ушел в Финляндию на гарантийный ремонт.

Наступал период осенних штормов. Мы были рады, что немного передохнем в тихой гавани. Спасательная служба такая: стоишь в порту, пока что-нибудь не случится на море.

Буксир отдышался у стенки. Свободные от вахты ребята начистили ботинки, отгладили яркие галстуки и поехали в город. У третьего штурмана был день рождения. Он пригласил всех в кабак «Маркизова лужа», как бичи именовали припортовый ресторан. Мы с Федором тоже решили кутнуть, но произошла непредвиденная задержка. Только побрился, как в каюту ввалился механик Аарон и грубо заорал:

— Ну, гуси лапчатые, все разбежались! Придется вам остаться на пару часов. . .

— Что такое? — спросил Федор.

— Треба котлы пробанить. Работа на шабаш. Один отгул дам.

— Не наша очередь, — сказал я.

Аарон хмуро покосился на меня и процедил:

— Теперь мы — спасатели. Котлы нужно держать в чистоте. Сами дым глотаете.

Федор посмотрел на меня и сказал:

— Надо — значит, надо. Морской закон.

Механик обрадовался и стал восхвалять нас, обещал вывесить наши фотографии на доску Почета. Федор даже поморщился от его неумной похвалы, будто мы дети.

— Сделаем, — кратко обрезал он.

Аарон ушел, задевая плечами косяки. Он был здоровый слон, ноги — как столбы. Кочегары его недолюбливали. Он был страшный скупердяй, деньги складывал на книжку, сам сигареты стрелял у всех. Он мечтал купить машину. Это дело было, конечно, его личное, нас не касалось. Работал он хорошо: на пузе лазал во все котлы, никому не доверял, когда мы их чистили. Сачкам и симулянтам спуску не давал.

Мы надели грязные робы, взяли рукавицы и спустились вниз. У котлов дежурил Паршин, смотрел за топками, чтобы не загасли. Помощи от него ждать не приходилось, он сразу смылся в машинку, чтобы не нюхать сажу.

Федор включил переноску. Я забрался на второй этаж, ключом открыл боковые задрайки, слез вниз и сбил последний болт. Щит, закрывающий дымогарные трубки, грохнулся с ржавым визгом. Под ноги рухнула раскаленная сажа. Я едва успел отскочить. Поднялось удушливое облако. Даже лампочек стало не видно.

Когда сажа осела, Федор осветил чрево котла и покачал головой.

— Ну и ну, трубки все заблокированы. Потеть придется. . .

Я взял короткий гребок, вычистил низ и голиком обмел трубки, чтобы их было хорошо видно.

Федор открыл вентиль на банник. Пар с ревом вырвался из сопла. Я еле удерживал раскаленный шланг, вводил банник в каждую трубку. Ошметки сажи с паром летели мне в лицо, я отворачивал его, даже защитные очки не помогали. Глаза щипало. Мы работали по очереди, задыхаясь от жары и грязи. Вылезали подышать на палубу. Матросы ругались:

— Духи чертовы, всю палубу за. . .

Мы не обижались, знали, что им придется мыть буксир после нас: из трубы летели лохмотья сажи и гари.

С первым котлом мы расправились в два счета, передохнули на свежем ветру. Глаза у Федора воспалились, наверное, и я был не лучше.

— Зашабашим, пойдем в город. У меня тут знакомая неподалеку живет. У нее есть подруга-латышка. Познакомлю, — сказал он.

Я вяло махнул рукой, так устал. Никуда не хотелось идти.

Мы снова полезли вниз. Второй «шотландец» был не чище. Пришлось покорячиться. Когда его вычистили, я еле языком ворсчал: одурел от жары и копоты. И легкие у нас были черные от сажи. Кашляли, выплевывая черные сгустки. Надо было еще мыть кочегарку. Я выключил освещение, в полной темноте скатил котлы и переборки. Но запах сажи остался.

Мы скинули рабочую одежду в бочку с мыльным раствором, пошли в душ. Мылись чуть теплой водой, чтобы не запарить поры кожи: сажу — горячей не отмоешь. Мочалкой чуть кожу не содрали с лица, но под глазами грязь так и не оттерлась.

После душа я немного повеселел, стал расспрашивать про латышку, кто она такая. Федор ухмылялся:

— Сам увидишь.

— Я по-латышски слова не понимаю.

— Не паникуй. Зигрида хорошо знает русский язык.

Мы надели костюмы, причесались на пробор, взяли са поручни.

— Стоп, — сказал Федор. — Ручку забыл.

— Брось, пути не будет.

— Не каркай.

Он вернулся в каюту, долго искал свой «Паркер». Он готовился в университет, таскал с собой записную книжку, куда делал выписки. Я часто видел, как он сидел задумавшись где-нибудь в уголке, штудировал Платона, что-то писал. Он возил целый рундук замысловатых книг. Я ничего не понимал в них. Он хотел стать журналистом.

Мы вышли на палубу. Воздух был сырой, мозглый. Фонари расплывались в тумане. С далеких дюн доносились крики бакланов. Федор потянул носом и мечтательно сказал:

— Слышишь, как пахнут сосны?

— Ничего не слышу. У меня аденоиды распухли в носу от сажи, — сказал я.

У трапа стоял тщедушный матросик. Звали его Андреем. Он с завистью посмотрел на нас.

— Счастливо, ребятки. За меня погуляйте.

— Обязательно, — пообещал Федор.

Матрос улыбнулся нам. Ему было несладко оставаться, когда половина команды на берегу. Огни манили. На той стороне гавани виднелось высокое здание. Наш буксир из-за причала был почти не виден, если не считать рубки и великолепной трубы.

Мы пошли. Федор поднял воротник макинтоша, поправил велюровую шляпу и вдруг остановился.

— Чего? — спросил я, думая, что он опять что-нибудь забыл в каюте.

— Не знаю. У меня какое-то нехорошее предчувствие. . . Уйдем мы под воду на этой развалюхе. — Он кивнул на буксир. — Не смейся. «Марсианину» все сроки вышли. От силы он год выдержит. Воды стало много поступать в льяла. Откуда, не знаю. Механики ничего не нашли, щупали днище сверху донизу. . . И котлы — старее быть не могут. Аарон смотрел жаровые трубы. Накипь въелась в металл, зубилом не отобьешь. Он написал рапорт в котлонадзор. Там пока разберутся. . .

Федор махнул рукой и зашагал к проходной, потом сказал:

— Ты не думай. Это я так. Настроение паршивое. Бабку вспомнил. Она меня воспитывала — родители на фронте погибли. Любила учить: «Федя, голубчик, ищи свое место в жизни. Счастье человека в том, чтобы узнать собственную в себе способность, по которой употребить себя в жизни». Я вот еще не нашел то, на что способен. Поступал в университет, не везло. На тот год опять поеду. . . — Он вздохнул.

— Ты да не поступишь! — воскликнул я, зная его усердие. — Обязательно сдашь.

— Я уже разуверился. Не будем загадывать.

К проходной подъехало такси, высадило двух женщин. Мы заняли их места.

Таксист в тельманке катал в зубах папиросу. По нашим неотмытым подглазьям он сразу смекнул, кто мы такие, и прибавил нам несколько рангов.

— Что, господа механики, куда доставить?

Федор сказал адрес. В машине было тепло. Я устроился на заднем сиденье, чуть было не уснул.

— Приехали. Подожди, я сейчас.

Федор открыл дверцу и вылез. На улице — туман. Такси стояло около обшарпанного трехэтажного дома. В окнах горел свет. Наверху играла музыка, гоняли на патефоне фокстрот «Китайская бамбула».

Шофер зажег плафон, повернул ко мне свое мясистое тяжелое лицо.

— Откуда пришли?

— Из Сингапура, — буркнул я.

Говорить не хотелось. Сейчас бы завалиться на койку и дрыхнуть без задних ног. . .

— Понятно, — сказал таксист и снова закурил.

Меня бил озноб: перегрелся у котлов. Во рту — привкус сажи, такая гадость.

Появился Федор с девушкой. Она привычно открыла дверцу, бесцеремонно села рядом, толкнув меня тугим бедром. Я отодвинулся.

— Приветик, — щебетнула она. — Меня зовут Лариса.

Пальто на ней распахнулось, мелькнули коротенькая юбка, шелковые чулки. Девушка была красивая. Но лицо казалось застывшим, будто природа долго трудилась над ним, но забыла вдохнуть душу, если можно так выразиться. В уголках рта застыли горькие складочки. Они как-то не вязались с ее лицом. И я подумал, что человек как подводная лодка, затонувшая на большой глубине: на поверхности моря видны лишь масляные пятна, обломки трагедии. . .

Так я понял и представился:

— Бронислав.

— Броня? — переспросила она.

— Не люблю, когда меня зовут уменьшительным именем, — ответил я.

— Вы такой серьезный всегда? — поинтересовалась Лариса и постучала Федора по плечу. Он обернулся.

— Что?

— Зигрида уехала к отцу. Двенадцать километров от города. Заедем?

Федор посмотрел на меня.

— Ну как?

— Не нужно мне никого, — сказал я.

— Так дело не пойдет. Двадцать минут езды всего...

— Время дорого, — сказал я. — Чего зря мотаться?

— Поехали, — упрямо сказала Лариса.

Ей, наверное, не хотелось, чтобы я мешал им. Третий — лишний. Я пожал плечами. Шофер дал газ, свернул в темноту, на дорогу, изрытую колдобинами.

Машина скоро остановилась на краю поселка. Электричества здесь не было: в окне кирпичного домика горела керосиновая лампа с рефлектором. Лариса выскочила на бутовую дорожку, побежала на крыльцо. Я вышел размяться. Федор разговаривал с таксистом. В доме замелькали тени. Грубый мужской голос закричал по-латышски, ему ответил девичий. Все стихло.

Я представил, какая Зигрида: беловолосая латышечка с румянцем на скулах. Но я ошибся. В темноте она казалась несколько бледной, худосочной. На девушке было старое пальтишко с круглым стоячим воротом, на голове — бархатный берет.

Я поклонился. Зигрида сделала чуть заметный книксен. Мы познакомились. Девушки залезли на заднее сиденье. Я втиснулся последним. Они тотчас завели разговор о делах рыбокомбината, где работали, как я понял, в копильном цеху.

«Ну попали, — неприязненно подумал я. — От них са-
лакой несет. . .»

Федор обратился к Зигриде:

— Куда теперь?

— Мне все равно, — ответила она.

Лариса нахмурилась, толкнула ее в бок.

— Она стесняется. Мы хотим танцевать. Дома у нас
ремонт. . .

— Ясно, — сказал Федор.

Мы поехали в ресторан. Куда в чужом городе подать-
ся? Ни кола ни двора.

С шиком подлетели к ярко освещенному подъезду.
Федор дал шоферу сто рублей. Таксист долго благодарил
его и сразу уехал.

Девушки разделись в холле, взяли номерки. Я огля-
делся. В этом ресторане я был впервые.

Многозначительный метрдотель в черном костюме
пригласил нас наверх, где были свободные места. Девуш-
ки чинно сели за столик. Зигрида смущалась, теребила
своей красной рукой брошку пузырчатого янтаря, при-
цепленную на платье. Лариса чувствовала себя уверенно.
У нее здесь была масса знакомых. Помахала рукой двум
латышам, сидевшим под пальмой.

В зале гуляли почти одни моряки. Ребята с нашего
буксира восседали в другом конце зала, компанию воз-
главлял третий штурман. Мы решили не мешать им,
пусть гуляют. Официанты лавировали в проходах. Не-
большой слаженный оркестрик наяривал новинку: «Мне
бить китов у кромки льдов». Ее простенький мотивчик
пробирал до слез. Два рыбака в грубых свитерах, обняв-
шись, качались на стульях и подпевали. Солистка стара-
лась. Я не понимал, как можно петь в таком чаду. Ве-
селье было в разгаре. Время шло под занавес.

К нам подошел измочаленный старик официант, при-
нял заказ. Федор знал толк в винах и фирменных блю-
дах. Официант ушел, шаркая стоптанными башмаками.

Зигрида зацепилась за свою уродливую брошь, как за якорь спасения.

— Пойдемте танцевать, — сказала она мне.

— Зачем же на «вы»? Это мой друг, — сказал Федор и ободряюще улыбнулся.

— Мы мало-мальски знакомы, — возразила девушка.

— Он мой друг, — повторил Федор и добавил: — По церковному преданию, люди обидели чем-то Христа. Апостол Павел сказал тогда: «Ты господь, а вы свиньи». Здесь общечеловеческий смысл...

Зигрида засмеялась:

— Хорошо.

Федор подтолкнул меня:

— Иди, раз зовут.

Лариса вкрутила сигарету в мундштук с золотым ободком, закурила, подняв соблинные брови. Видно, ей не очень нравилось, что Федор разговаривает с Зигридой.

Мы пошли танцевать. Моя партнерша двигалась легко. Она была высокая девушка: наши глаза были на одном уровне. Я чувствовал себя не очень уверенно, наступал ей на ноги. Пятачок у эстрады гудел, как улей. Нас безбожно толкали.

— Фе-еда какой-то странный, не правда ли? — протянула она.

— Он компанейский парень. С кем хочешь будет говорить на «ты». Нас отпустили из Риги в Ленинград на два дня... В самолете он сидел рядом с генералом. К концу полета они уже были друзьями. На бетонке этот генерал долго тряс руку Федору, приглашал в свой «Мерседес», адъютанты почтительно стояли в стороне...

Зигрида внимательно слушала, но по глазам было видно, что не поверила, только улыбалась закрытым ртом. Я стал расхваливать друга: он настоящий моряк, семь лет ходит в морях... Стал заливать ей, какие мы

с ним неразлучные друзья, даже вспотел от собственного красноречия.

Танец кончился. Мы пошли к столику. Рюмки были налиты. Федор с Ларисой уже выпили зеленого бенедиктина. Раскраснелись. Лариса расцвела, стала непринужденной. Но мне не нравилось, что она такая величественная. На нее пялились с других столиков. Она это принимала как должное: одаривала моряков царственной улыбкой. На чужие завистливые взгляды Федя не обращал внимания. Пусть любят на его девушку! На его месте я бы жутко заревновал. Зигрида была проще.

К нашему застолью подвалили два блестящих штурмана с «Железняка» и пригласили наших девушек на танец.

— Не возражаете?

Мы не возражали. Федор нажимал на еду. Он любил плотно поесть. Да мы и не ужинали на судне.

Кто-то открыл окно, в зале стало свежее. На улице горели смутные фонари. Деревья были голые, их арматура ясно вырисовывалась в легком тумане. Одинокий желтый лист каким-то чудом удерживался под фонарем, словно грелся напоследок.

Ликер был крепкий. Мы блаженствовали: впереди у нас — свободные сутки. . .

Я отодвинул тарелку, вытянул под столом ноги. Усталость давала о себе знать, но я бодрился. Надо проводить Зигриду. Там видно будет.

Девушки вернулись возбужденные, набросились на еду. Приятно было смотреть, как они ловко орудовали ножами, вилками, отправляя в рот аккуратно нарезанные кусочки сочного мяса.

Зигрида нравилась мне все больше. Очень милая девушка. Когда я нечаянно касался ее, она вздрагивала, прятала большие руки под скатерть. Реплики Федора

связывали нашу общую беседу. Все шло как по маслу. Я узнал, что в отца Зигриды стреляли бандиты, он недавно вышел из больницы. Она ездит к нему каждый день, помогает по хозяйству. У нее два меньших брата, а матушка часто болеет. . .

— В городе я снимаю комнату у одной ведьмочки, — сказала Зигрида и покраснела.

Я понял это как намек, стал обнимать ее за талию, пытался поцеловать в щеку.

— Нехорошо, люди смотрят, — повторяла она, держась за брошку. Мне казалось, что я делаю все правильно.

Оркестр пикиал «Рио-Риту». Мы пошли танцевать. Я не люблю быстрого темпа, вел девушку медленно. Она запинаясь. Под рукой скользило ее шелковое платье.

— Мы будем встречаться? — небрежно осведомился я.

Она изучающе посмотрела на меня, вдруг улыбнулась, показав верхний сломанный зуб.

— Не знаю. . .

— Будешь ждать? — пристал я и на повороте крепко прижал ее к себе. Она отстранилась. На ее лицо легла тень.

— Я наждалась достаточно, — грубо ответила она и неожиданно уткнулась в мою шею лицом и заплакала, как девочка. На нас стали оборачиваться. Я повел ее к столику. Она вырвалась, убежала к выходу. Лариса пошла за ней, сердито оглядываясь на меня.

— В чем дело? — спросил Федор.

Я передал наш с ней разговор.

— На нее бзик напал от ликера, — уверенно заявил я. — Прямо смешно — взяла ни с того ни с сего заплакала, когда я спросил: будет ли она ждать меня. . .

— На все есть свои причины, — задумчиво ответил

Федор. — Я ее немного знаю, она не из тех девушек. . . Лариса рассказывала, что у Зигриды был жених, служил в армии. Она ждала его три года, даже на танцы не ходила. Подруги смеялись: жди, жди. . . Она показала им его письма. Подружки сразу замолчали, стали ей завидовать. Письма были замечательные. . .

— Ну и что? — перебил я.

Федор усмехнулся:

— Парень женился на другой, привез с Украины красавицу. . . Вот как ошиблась она в нем. . .

— И теперь Зигрида решила отыгаться, пошла в разнос? — легкомысленно сказал я.

— Надо быть сдержанным, друг мой, — грустно ответил он. — Никогда не делай поспешных выводов. Она честная девушка и не заслуживает, чтобы о ней так говорили. . . Пойду посмотрю, что с ними. . .

Он пошел на лестницу. Мне стало стыдно за свои дурацкие замечания. Оркестр замолк. На эстраду поднялся метрдотель и дунул в микрофон:

— Внимание, команде с парохода «Марсианин» срочно на выход. Пять минут на сборы. . .

— Что за шутки? — закричал третий штурман, направляясь к нему.

Метрдотель нагнулся, что-то сказал ему на ухо.

Штурман растопырил руки и пошел к притихшим матросам. Те встали. Третий направился ко мне.

— Где Федор?

— Сейчас придет. Что случилось?

— Выход в море. Не опаздывать. — Штурман повел толпу матросов вниз.

Федора долго не было. Вернулся с девушками и выложил на край стола кучу денег, — видно, ему сообщили о непредвиденном отходе.

— Рассчитайтесь без нас. Служба.

— Мы проводим, — сказала Лариса.

— Не надо.

Зигрида жалко улыбнулась. Лицо у нее было подпудрено. Я поцеловал ей руку. Она погладила меня по голове, как гладят несмышленного телка. Мне даже обидно стало: пусть не думает, что я младенец!

— Придем, не волнуйся, — сказал Федор Ларисе.

Та страдальчески сморщилась и отвернулась. Не хотелось уходить из светлого зала. Девушки остались.

Подняв воротники макинтошей, мы бодро зашагали к порту. Туман сгущался. Каменная мостовая блестела от сырости. Шаги глухо отдавались среди спящих домов. В порту маневрировало судно, освещенное по борту цепочкой огней.

В проходной у нас не спросили удостоверений. У охранников глаз наметанный: сразу видно моряков. Да и кому взбредет в голову шататься по угрюмому холодному порту ночью?

На «Марсианине» проворачивали машину. Андрей еще не успел смениться, встретил возгласом:

— Не дали погулять?

— Куда идем?

— Спасать МРТ, в тумане напоролся на камни. . .

— Какой вечер испортили! Ладно, хоть поспим часа три. . .

Федор зачем-то сбегал в машину. Мы спустились в каюту, разделись и упали в койки. Моя — верхняя. Федор снизу ткнул пальцем в мой матрас, спросил, как мне понравилась Зигрида.

Что я мог ответить? Да, понравилась. Вспомнил, как она краснела от моих грубостей.

— Чудная какая-то. У нее ползуба нет. . .

Я свесил голову и показал, какого зуба. Федор махнул рукой:

— Коронку поставит. Это ей фриц котелком заехал в зубы, когда она есть просила. Ей было двенадцать лет. . .

Мы немного помолчали, потом я спросил:

— В ее отца кто стрелял?

— Ну, эти. . . Которые советскую власть не признают, националисты. . . Он сельсоветчик. На сенокосе по нему из шмайсера полоснули. Хороший мужик.

— Откуда ты все знаешь? — удивился я.

— Мы с Ларой были у них в доме. Я тогда на «Малыгине» полмесяца здесь торчал на ремонте. Камбуз не работал, денег ни копейки. . . Девчонки и кормили меня салакой. Они сами в нищете живут: три платишка на двоих. Они тогда в общежитии обитали. . .

— Как ты с Ларисой познакомился?

— Как, как. . . Загорал в дюнах, пошел купаться, смотрю, девица у прибоя лежит в мокром песке и воет. Я ее домой проводил. . . — Федор вздохнул и пояснил: — У нее мужик погиб на сороковой день после свадьбы. Рыбак был. Под Виндавой на mine подорвался. . .

— Я как увидел ее, сразу в голову пришло, что у нее что-то стряслось в жизни. Лицо такое. . .

— Спи, чучело, много ты понимаешь. Потом поговорим.

Федор завернулся в одеяло и захрапел. Я долго не мог уснуть. Наверху топали матросы. Машина заработала.

Глухой ночью я проснулся, томимый мучительной тоской по дому, — мать там одна. . . Ждет. Молодость проходит в бушующем море на черных вахтах. Никто в этом не виноват; сам стремился в море, бредил романтикой дальних стран. Хотя чего мне жаловаться: флот воспитал меня, одел, накормил. Надо идти учиться в мореходку. Федор поможет по математике. . .

Я включил ночник, посмотрел на часы. Было четыре утра. Никто нас не будил.

Я протер глаза, прыгнул вниз и нащупал на переборке графин с водой. От вчерашнего ликера в желудке горело. Настоящий самогон! Когда мы успели накачать-ся? Не буду больше пить, возьмусь за ум. . .

Вода была теплая, с большим количеством солей. Я выпил полграфина и растолкал Федора.

— Что? — очумело забормотал он, отдувая усы, сел на койке.

— Пора. Пять минут чужого спим. . .

На соседней койке заворочался Паршин, злобно зарычал на нас:

— Кончай базарить, волосаны!

Мы надели колодки, вышли к шкафчикам. Дверь в каюту машиниста была открыта, там никого не было.

— Нас не разбудили, что за черт? — ругнулся я.

— Я просил, чтобы дали лишний час покомарить, — сознался Федор.

— Извини, я не знал.

Мы напялили стоящие колом штаны, куртки. Роба отвратительно пахла гарью. Мы к этому привыкли. Сипела машина. Было слышно, как она разнузданно чавкала в масле.

Я подставил голову под кран, сполоснул лицо, вытерся беретом. Федор запалил сигарету. Мы пошли через палубу. За бортом ворчала вода. Свежий морской воздух бодрил. Я глянул в открытую настежь дверь кочегарки. Ребята сидели на ящике. Не хотелось спускаться в это чистилище. Федор будто угадал мои мысли.

— На «Малыгине» у меня кореш Боря был, он перед каждой вахтой орал: «Все говорят: тот свет, тот свет! А разве этот свет — не тот свет?» Спускайся, ни о чем не думай. . .

Федор толкнул меня, и мы полезли вниз. Соколов и Гришук встали с ящика, обрадованно загалдели.

— Мы думали, вас краном поднимать надо. . .

— Как вахта?

— Бардзо добже, панове. — Гришук зашлепал толстыми губами и показал на манометры. Пару, действительно, некуда было девать. Обычно они сдавали смену кое-как.

— Вам повезло. Антрацит пошел, — сказал Соколов и кивнул на клинкеты. Оттуда сыпался блестящий уголь.

Ребята ушли.

Я заглянул в топку. Белое восхитительное пламя озарило меня. Температура в топке была адская. Не верилось, что существует такой замечательный уголь. Обычно нам давали «печору». На буксиры дают, что похуже, а тут раскошелились. Я забыл — мы теперь в роли «спасателей». И нам положено все самое лучшее. . .

Я включил переноску, полез в бункер. Сверху антрацита лежал слой «печоры» — добавка к хорошему. Чтобы не смешивать марки угля, я снял верх, пока не пошел настоящий «орех» и «кулак», как шахтеры именуют экспортный уголь. Он был звонкий, слетал с лопаты, как птица. Не надо корячиться и долбать. Вот это да!

Бункер принимал Паршин и замаскировал хороший уголь, чтобы мы подольше не добрались до него, сам потихоньку таскал из угла. Кочегары и подумали, что «орешка» мало. А было тонн шестьдесят.

— Ну, прохиндей, — ругался я, штывая уголь к клинкетам.

Федор заглянул в дыру.

— Хватит пока.

Я лег спиной на гору антрацита и протиснулся в кочегарку. После темноты бункера я ослеп от яркого огня в топках. Пробаненные котлы гудели ровно и сильно. Федор не поверил, когда я рассказал о жульничестве Паршина.

— Думай, что говоришь.

— Ей-богу, там пещера такая выбрана. . . Как его, дурака, еще не завалило.

Федор угрюмо почесал в затылке.

— По лекалу ему врезать, и весь сказ. . .

— Он начальству пожалуется.

— Пусть попробует. . .

Я встал с ящика, заглянул в топку. Она была выложена слоем угля, ровным, как бильярдный стол. Федор умел сеять уголь веером, как хороший крестьянин разбрасывает зерна из лукошка. Я так не мог: кучи получились.

В дверь просунулась голова машиниста Валентина.

— Обороты прибавляем. Старайтесь удерживать пар! Погода портится. Надо успеть снять рыбаков.

— Будет сделано, — сказал Федор и повернулся ко мне: — По-китайски умеешь работать?

— Как это?

— Каждые пятнадцать минут будем топку чистить.

— Ты что, рехнулся? — сказал я. — Подохнем ведь от угарного газа.

— Иначе пар не удержишь. Видишь. . . — Он кивнул на манометры. Стрелки уже отошли от красной черты.

Мы принялись за дело. Машина рывкала на полной отсечке. Стало заметно качать. Я бросал в ненасытные топки божественный уголек и во все горло орал песню о проклятых китах, которых нужно бить, чтобы обеспечивать детишек рыбьим жиром. Глупая песня, но мне нравилась. Никогда мы так не ходили. Прямо жуть брала!

Ломики свистели и брякались на железную палубу. Мы плясали у огней, выворачивая белые куски шлака под ноги. Я зазевался, и раскаленный уголь прыгнул в мой левый ботинок. Я бросил лом, распутал шнурок, спихнул ботинок и вылушил из-под кожи уголь. От крови он успел остыть. Я доскакал до ящика. Федор принес бинт с вазелином и занялся моей ногой.

— Метка на всю жизнь останется, до кости прожгло, — сказал я.

— Сам виноват. Говорил, шнурки выдерни, остолоп. . . — ругнул меня Федор. Он никогда не шнуровал

свои «гады»: так можно было быстро сбросить с ноги ботинок, если жар стрельнет в него.

Боль немного утихла. Я обулся и пошел в машину за свежей водой.

Здесь был свой чудовищный мир. Крейцкопфы летали, как ласточки. Жирный туман обволакивал механизмы. Плиты покрылись налетом масла, брызгавшего с параллелей и мотылей. Механик сидел у реверса, лицо его лоснилось, как у медного божка, в лысине отражался свет лампочки. От пышущих жаром цилиндров, разъяренных штоков веяло сумасшедшей силой. В дейвудной трубе ворочался вал, намазывая мили. Валентин спустился со второго этажа, держа в руке спринцовку. Рубашка на нем пропиталась маслом.

— По сравнению с вами у нас курорт! — заорал я.

— Знаем ваш курорт, бахвалы, — усмехнулся машинист.

Я набрал в чайник воды и вернулся. Федор гарцевал перед топками, как скаковая лошадь перед стартом. Он был стройный, сильный, работал с каким-то надменным изяществом, вырывал из топки куски раскаленного шлака.

Буксир стало заваливать. Осенняя Балтика не давала передышки. Я протянул чайник. Федор напился свежей воды и снова стал ломать спекшийся в броню шлак. Китайский метод, будь он неладен!

Кочегарка наполнилась удушливым газом. Я развернул вентиляторы на ветер и лебедкой спустил бадью. Федор стал кидать в нее шлак, наполнил ее с верхом. Я поднял бадью и опрокинул ее в лоток. Бадья была тяжелая, я еле проворачивал рукоятку лебедки. Море недовольно принимало грязь. Куски шлака тонули в пучине, шаркая по борту. Свежий ветер обдувал мое разгоряченное лицо. В этот предрассветный час море было предштормовое. Я поднял восемь бадей и спустился вниз,

Федор стоял у топки, пытался выдернуть гребок, которым разравнивал уголь. Пламя пекло, на Федоре дымилась куртка. Я подумал, что гребок зацепился на колосники, подошел и глянул в топку.

— Видишь? — зашептал мой напарник.

— Ничего не вижу.

— Как же?

Я снова глянул в отверстие чрево. У меня подкосились ноги. На стене жаровой трубы сидел пузырь. От давления пара он выдулся изнутри, как детский шар, и прижал гребок к колосникам. Я понял, что наш достопочетный буксир взлетит на воздух и разлетимся мы от Клайпеды до Пилау. . . Я шагу не мог ступить, внутри у меня все застыло от ужаса. Федор оттолкнул меня.

— Выключи главный паропровод левого котла и гребки жар! — заорал он.

Я не помнил, как очутился наверху, отсоединил свой котел. Теперь пар уходил из аварийного на машину, а в левом сработал предохранитель. В отводной трубе от давления вырвало прокладку, пар стал поступать в помещение. Не видно было ни зги. Рев стоял такой, что я оглох, ползал в этом аду, гасил топки. В машине закричали. Механик и машинист искали нас. От гари и сырого пара меня стало рвать. Я вцепился в дистанционный подрыв клапанов, в троса и держал их, пока давление не снизилось, пар начал утихать. Можно было разглядеть манометры.

— Шесть очков!

— Трави до ноля! — Федор держал свои троса. На его котле было две атмосферы.

В кочегарку спускался старший механик, брезгливо касаясь грязных поручней.

— Что за бардак, мать вашу по кочкам?

— Иди ты! — сказал Федор.

Стармех побледнел и спросил, что с трубопроводом.

— Иди ты! — снова сказал Федор.

— Два! — завопил я.

Аарон смотрел в ту страшную топку. У него началась нервная икота.

Лампочка плохо светила: паровая динамка еле крутилась. Валентин включил аккумуляторы. Аарон справился с икотой и доложил:

— Огромная выпучина, смяло жаровую. Сталь хорошая, котлы в Швеции делали. . .

— Позвольте глянуть, — вежливо сказал стармех и пугливо посмотрел на манометры.

— Полтора очка, — успокоил я его.

Старший механик злобно заматерился. Я отпустил троса, глянул на свои руки. Одну рукавицу я где-то потерял. По ладони шла кровавая полоса: в горячке схватился за раскаленную шуровку.

Федор достал из конторки гаечный ключ и полез выворачивать пружины предохранителей, хотя этого можно было не делать: пар был почти на ноле.

Смена пришла. Народу натолкалось больше, чем нужно. Расспрашивали.

— Я гребок не успел выдернуть: зажало, — пояснил Федор.

— Может, такая мелочь и спасла котел, — задумчиво сказал Аарон и предупредил всех: — Наверху не болтать. Поменьше сплетен.

Мы вылезли на свежий воздух. Ноги у меня были как ватные. Буксир дрейфовал по ветру. Со спардека на нас глядела палубная команда.

Мы направились в душ. Бойлер был горячий. В кочегарке запустили левый котел, машина заработала на малом ходу. Взяли курс на банку. В иллюминатор уже был виден траулер, терпящий бедствие. Рядом на якорях стояли еще два рыбацких судна, ожидая нашего подхода.

Распаренные, мы долго сидели в предбаннике. К нам заглянул старший механик и поставил на скамейку мензурку со спиртом.

— Примете фронтovou порцию и — в постель. На вас лица нет. . .

— Ничего, — сказал Федор. — Как там дела?

— Котел отглушили, воду спустили. Через час полезем.

— Почему трубу выдуло? — поинтересовался я.

— Сталь устала. И, по всей вероятности, в этом месте образовался слой накипи, сталь под ней перегрелась, размякла. Вы слишком форсировали котлы. . . — Стармех похлопал нас по голым плечам и ушел.

— Треплется не знаю как, — сказал я с обидой. — Будто мы виноваты. . .

— Не переживай. Он просто так ляпнул. Мы шли полным ходом, их и нужно было форсировать, как же иначе?

После душа мы сходили в лазарет. Федор состриг с моей ладони лохмотья кожи и сделал мазевую повязку. С ногой было проще: рана хорошо запеклась.

Мы направились в столовую. Стол был накрыт мокрой простынью, чтобы по нему не ездила посуда. На ней красовались две банки тушенки, сгущенное молоко и целое блюдце красной икры.

— Капитан расщедрился для вас, — сказал буфетчик. — Банки открывать?

— Валяй. Спирт разбавь, чуток тебе плехнем.

— Мне не надо. Вам самим мало.

— Хватит. Мы спать идем.

— Опасно было?

— Не очень. Легкая авария.

— Вы оба бледные.

— Сейчас покраснеем. Масло принеси.

Мы завтракали, не ощущая вкуса икры, гоняли горячий чай. Солнце поднималось над морем. Горланили чай-

ки — их налетело видимо-невидимо. Рыбаки сбрасывали в море ящики с рыбой, чтобы облегчить трюмы. С буксира спустили шлюпку и завезли трос на МРТ: из-за мели к нему было трудно подойти.

В столовую заглянул радист-мальчишка, протянул Федору радиogramму.

— Балуют вас спозаранку, счастливички. — Он подмигнул нам и умчался на пост.

Федор разгладил усы, положил бланк передо мной.

— Зигрида тут о тебе беспокоится. . .

Я стал читать, не понимая смысла: «Дорогой зпт тяжело без тебя тчк Приходи тчк Зигрида передает лучшие пожелания Бронику тчк»

— Первая часть тебя не касается, не ухмыляйся, — отрезвил меня Федор.

— Я не думал, что у вас серьезное что, — смущенно сказал я.

— Пора начинать думать, — грустно сказал Федор и, вздохнув, добавил: — Иди спать, я спущусь в кочегарку, помогу ребятам освоить китайский метод. Сам понимаешь, один котел. . .

— Мало тебе восхитительной ночи?

— Молчи, зануда.

Он слегка стукнул меня по затылку ладонью и удалился твердой походкой.

Засыпая в узкой койке, я слышал, как залязгала шестернями паровая лебедка, заработала машина, стягивая траулер с каменной мели. Федор не приходил. И я думал, что за эти полгода я обрел настоящего друга, до которого мне еще тянуться и тянуться, что теперь буксир поставят на длительный ремонт и, наверное, его не выпустят больше в море. Как знать. Я поеду домой. Зигрида проводит меня на холодном перроне и будет прятать от меня свои большие красные руки, потом я напишу ей письмо. . . Я уткнулся в подушку и уснул с мокрым лицом.

Мартовский лед



Первая трещина была в пяти километрах от берега, и все рыбаки застревали на ней, чтобы не сверлить заматеревший припай. Туда прилетали зимние птицы из лесов и клевали оставленных червячков, крошки хлеба, а вороны ждали мелких ершей и бельдюгу, которых рыбаки не брали.

Тихон перескочил выпуклую дымящуюся прорву. И на этот раз за ним никто не шел. Он не любил преследования: есть жлобы на готовое, только напади на рыбу — высверлят лед, как решето, засветят, сами ничего не возьмут, и ты уходи.

Он двигался по морю и смотрел на потухающие звезды, которые в городе не воспринимаются, ничего не навешивают. На фарватере маячил караван судов: ледокол выводил его на чистую воду. Огни пароходов слабо мерцали. В небе тлела заря.

Тихон долго плутал, пока наткнулся на стоянку, где ловил в прошлый раз: в лунку вмерзли консервная банка и обертка от «Беломора». Он сбросил ящик, развернул коловорот. Сверло у него было острое как бритва, резало легко. Вода с хрипом вырывалась из пробуровленного шурфа, растекалась под ногами. Он сделал несколько скважин, чтобы потом не отвлекаться, если понадобятся, и медной шумовкой почистил ледяную крошку из лунок. Всходило мартовское солнце, низкая поземка стелилась вдали розовой мутью.

Глубина здесь была хорошая. Он прицепил свинцовый груз, чтобы леса быстрее достигала дна. Ему нравилось, что течение от прилива сильное: леса выгибалась парусом, легкие мормышки отдувались на поводках. От водяной тяги подо льдом поплавочек прилип к борту лунки. Тихон сделал еще удочку, сел спиной к ветру, грел руки в собачьем меху и размышлял о рыбе, кото-

рая зиму живет во тьме, осклизлым лбом тычется в камни, ищет жратву, чтобы не помереть до летней светлой жизни.

Ноги стыли в ледяной каше. Один поплавок пошевелился. Тихон подождал, пока кивок не согнулся под тяжестью, и тогда подсек. Рыба уклонялась в сторону, леса терлась об лед. Он сбросил снег в лунку, затемнил. Рыба пошла спокойнее. Обрадовался красномордому. Окунь был глубоководный: изо рта выдавился плавательный пузырь, мелкие пиявки ползали по жесткой шкуре.

Снег сиял. Вдали чернели рыбаки на трещине и виднелся обрывистый берег с прозрачной радиомачтой. Тихон сидел в снежной пустоте, изредка выдергивал пыхтящих окуней с раздутыми от декомпрессии пузами. С берега летели две вороны, переговариваясь на лету. Опустились близко, скрипя крыльями, подпрыгивали в холоде. Одна поскользнулась, упала с тороса, завертела башкой, застеснялась. Тихон отломил за пазухой кусок согретого хлеба с салом, бросил птицам. Поплавки не шевелились. Зерна снега переливались красными и зелеными цветами. И Тихон думал, зачем живут вороны, существуют. Вот люди ловят рыбу, едят. Еда дает силу им, чтобы работали, мозгой крепко шевелили. А вороны, выходит, живут так, неизвестно зачем...

Ветер звенел льдинками подтаявшего наста. Солнце подогревало спину. Вороны уже улетели. Он раскрыл ящик, достал заледеневшие вареные яйца, очистил их, стал жевать, с трудом глотая сухую пищу. Утер подбородок, попил солоноватой морской воды, закурил, возился и кряхтел на сиденье и чуть не зевнул поклевку: удочка вдруг кувырнулась в лунку.

По напряжению лесы Тихон понял, что рыба уйдет. Катушка с визгом работала на льду. Тормозить не было смысла, все равно что пытаться сдержать тонущую торпеду.

«Она больно укололась, напугалась, — машинально отметил он и подумал: — Снасти у меня много. Тяни, раз ты такая...»

Он терпеливо ждал. Рыба пошла рывками. Он стал гасить ее скорость.

Иногда удавалось выбрать метра два, но жилка опять ускользала.

— Кислорода мало подо льдом... Дышать тебе нечем. Сдавайся, — проговорил Тихон и начал подъем. Он выбирал тонкую нить с осторожностью опытного минера, каким был в войну, когда приходилось распутывать хитроумные инженерные схемы. А теперь была рыба. Она пугалась света и каждый раз отходила. «Хвост у нее с весло», — подумал он. Чувствовал, как рыба табила им, и видел ее башку с закушенной мормышкой в глу пасти.

— Подожди, постой, — попросил Тихон, затемнил скважину, чтобы рыба глаза не портила, расстегнул фуфаечку, высвободил правую руку. Левой он держал леску и все время ощущал предельную тяжесть. Встал на четвереньки, в ледяное оконце пропихнул руку выше локтя. Свитер набухал, будто фитиль, всасывая морскую влагу. Рыба горбом терлась под пальцами. Он слышал, как лопнула леска, но понял, что рыба стоит, не понимает свободы. Терять было нечего, — грубо сдавил ей жабры и выдернул, как репу.

Он уложил ее в ящик, снял свитер, нижнюю рубашку, отжал, оделся, не чувствуя холода. Вспомнил, что не опустил кормушку. Достал набитую кашей банку с дырами, смайнал в прорубь. Починил порванную снасть.

Спину леденил ветер. Кашу хорошо вымывало течением, подошла плотва, теребила поплавки. Одну он подсек. Лунка засияла, осветилась, серебристая кованая рыбина вылетела на смутное солнце, шлепнулась в разноцветный снег.

«Не рыба, а перо жар-птицы», — подумал он и оглянулся.

Ледокол на фарватере давился льдами. На западе возникала туча. Море было пусто, бело. Колотила дрожь от сырой одежды. Он сидел угрюмо на льду, коченея от холода. Потом не выдержал, устроил бег на месте, топая ногами.

Туча быстро поднималась. Пошел густой снег. Рыба не клевала. Он поднялся и стал делать крепость: срезал наст коловоротом и куски выкладывал полукругом. Задно согрелся. Теперь ветер упирался в стену, снежные струи висли козырьком над бастионом.

Тихон наклонился к ящику, подсчитал улов, перекидывая с руки на руку замерзшую рыбу. Она потускнела, потеряла краски. Он нехотя разогнулся, всхлипнул, шумовкой выкинул снежный кисель из лунок. Опять подошла плотва. Он четко подсекал ее, выплескивал на лед одну за другой. Рыбы подпрыгивали, катались по снегу. От холода загибали хвосты и замерзали изогнутые, как сабли.

Он ловил, пока не стемнело. Тогда начал собираться: выковырял двадцать семь рыбин из снега, свинтил острый коловорот, застегнул ящик, взвалил на спину. Было тяжело идти, нести груз. На торосах намело сугробы. Иногда наст проламывался, ящик с рыбой перевешивал, Тихон падал, поднимался, вытряхивал из собачьих рукавиц тающий снег и шел снова плечом вперед. Снег хлестал в лицо, таял и смывал пот. Он миновал трещину, тут начиналась рыбацкая дорога. Медленно полз в тяжелом снаряжении, в ледовой мгле. Наконец ощутил плескун под ногами. Это был камень на мелководье. Летом, в ветер, он обнажается, плещется. На моторках об такие камни часто портят винты и проламывают днища. Сейчас вода убыла, лед осел, треснул на гриве. Тихон обошел вылившуюся из трещин воду. Впереди белел огромный берег.

Он покинул море, вышел на узкую прибрежную полосу. Кричал поезд за лесом. Снег не переставая покрывал землю. Тихон направился к дорожной магистрали.

На крыльце сторожки стояла женщина в оранжевой спецовке, и он спросил ее, не опоздал ли на транспорт, — часов у него не было.

— Не торопись, — сказала стрелочница, поднимая сигнал. — Это снегоочиститель. Электричка задерживается, пути завалило. . .

И правда, это был тепловоз с прицепленным стругом. Снегоочиститель нес целое море огней. Плуг отваливал с полотна тонны снега. На переезде машина приподняла железный подол, сбавила скорость. Механик с заботливым лицом смотрел из будки на красные масляные колеса. Стрелочница замахала белым сигналом, подудела в рожок.

Тихон почтительно разглядывал действие машины и думал о своем цехе, где завтра в семь часов будет принимать смену у Филимонова, угоревшего от ночной плавки, где ошалелые от трясучей работы, бледные обрубщики будут циркулировать к сатуратору, глотать ледяную шипучую газировку.

Поезд проследовал. Тихон повернул исхлестанное лицо к женщине и позавидовал:

— Веселая работа, а?

— Чего-о? — удивилась работница.

— Я говорю — хорошая работа у железнодорожников. . .

— Нашел. . . Чужой калач толще, однако, — заметила стрелочница и удалилась в сторожку.

Тихон вздохнул, пошел к станции по расчищенному пути. Редкие дома светились в метели. В вокзале сидело несколько рыбацков.

По разговору он понял, что они ничего не уловили, избегали море зря.

Гикнула запоздавшая электричка, зазвенела обморо-

женной сталью, остановилась. Рыбаки ввалились в тамбур, потоптали обледенелой обувью, зашли в длинный светлый вагон и уселись на желтые лавки играть в «секу». Тихон не любил карты, отделился на гнутую скамью, глядел в зеркальную двойную раму, где проносились с редкими заснеженными кустами дорожная полоса отчуждения, освещенная электрическими окнами поезда, и думал про свою рыбу, как придет домой, будет есть огненные крепкие щи, выпьет стакан ледяной водки из холодильника и будет рассказывать соскучившейся жене, как ему одному сегодня повезло. В эту минуту он был спокоен, счастлив.

Потом Тихон устал от белой мчащейся пелены, лег калачиком, подложил под голову мокрую шапку. И начал засыпать, пуская по-детски слюни. В вагоне было тепло, он слышал еще, как плотвины оттаяли и стучали хвостами в ящике.

Содержание

«ФД»	3
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ	30
ПИАНИНО В РАССРОЧКУ	42
ПАТРУЛЬ	72
НА ХОЛОДНОЙ РЕКЕ	82
ДОМ НА КАНАЛЕ	91
ДЛИННАЯ ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА	126
ПЕТР И ЛИЗА	134
ПЕДАГОГИКА НА ТРОЙКУ	145
ПОСЛЕДНЯЯ МАРФА	174
КОМАНДИРОВКА НА СЕВЕР	193
ЛЯГУШОНОК	207
МОЙ СТАРШИЙ БРАТ	210
ВПЕРЕДИ БЫЛО ЧИСТО	248
СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ	259
МАРТОВСКИЙ ЛЕД	281

Насущенко В.

Н 31 С утра до вечера: Рассказы. — Л.: Сов. писатель. 1984. — 288 с.

Эта книга ленинградского прозаика разнообразна по своему содержанию. О чем бы ни писал Насущенко: о любви, о мужестве и долге, о нелегком труде, о молодых людях, вступающих в жизнь, и стариках — его рассказы, сжатые до предела и стилистически отточенные, наталкивают на серьезные размышления о жизни и людях, раскрывают доброе, часто незаметное сразу, но так необходимое нам.

Н $\frac{4702010200-157}{083(02)-84}$ 96—84

ББК 84. Р7

Владимир Егорович Насущенко

С утра до вечера

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1984, 288 стр. План выпуска 1984 г. № 96. Редактор *М. И. Дикман*. Худож. редактор *М. Е. Новиков*. Техн. редактор *Е. Ф. Шареева*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*. ИБ № 4178. Сдано в набор 22.02.84. Подписано к печати 9.08.84. М 35202. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,60. Уч.-изд. л. 13,03. Тираж 100 000 экз. Заказ № 127. Цена 85 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

85 к.